

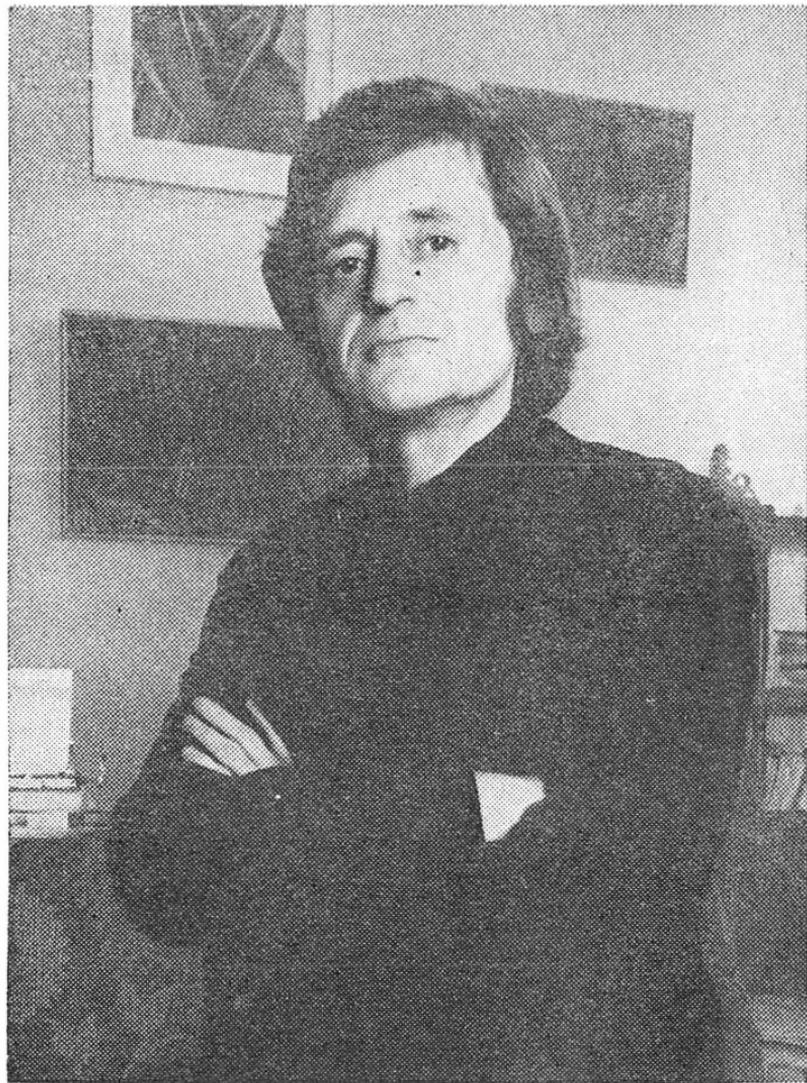
ВИКТОР СОСНОГА • ПЕСЬ ЛУННАЯ

**ВИКТОР
СОСНОГА
ПЕСЬ ЛУННАЯ**



*Виктор
СОСНОРА
ПЕСНЬ ЛУННАЯ*





ВИКТОР

СОСНОРА

ПЕСНЬ ЛУННАЯ

стихи

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ · 1982

Новый сборник стихов Виктора Сосноры «Песнь лунная» включает стихи, уже публиковавшиеся в его прежних книгах — «Аист» и «Кристалл».

Художник В. А. Кубасов

* * *

И древний диск луны потух.
И дискантом поет петух.

Петух — восточный барабан,
нерихонская труба.

Я знаю: медленен и нем,
рассвет маячит в тишине,
большие контуры поэм,
я знаю, —
в нем, а не во мне.

Я лишь фонарик на корме,
я — моментальный инструмент.

Но раз рассвет — не на беду
поет космический петух.

Петух с навозом заодно
клюет жемчужное зерно.

В огромном мире, как в порту,
корабль зари — поет петух!

* * *

Над Ладогой вечерний звон.
Перемещенье водных глыб.
Бездонное свеченье волн.
Космические блики рыб.

У туч прозрачный облик скал.
Под ними красная кайма.
Вне звона различимо, как
поет комар,
поет комар!

Мои уключины — аккорд
железа и весла-меча.
Плыву и слушаю: какой
вечерний звон,
вечерний час!

Озерной влаги виражи,
и музыкальная капель.
Чего жалеть?
Я жил, как жил.

Я плыл, как плыл.
Я пел, как пел.

И не приобретал синиц,
небесных журавлей не знал.
Афористичность этих птиц
смешна.
А слава не нужна.

Не нужен юг чужих держав,
когда на ветках — в форме цифр, —
как слезы светлые, дрожат
слегка пернатые птенцы.

Когда над Ладогой лучи
многообразны, как Сибирь...
Когда над родиной звучит
вечерний звон моей судьбы.

Легенда Ладоги

*(Четыре фрагмента
из поэмы «Хроника Ладоги»)*

1

Над Ладогой
на длинном стебле расцветает солнце.
Озеро
не ораторствует, оно только цитирует маленькие
волны — одни
похожи на маленькие купола,
другие —
на маленькие колокола.
На берегу валуны
сверкают, как маяки.
Тюлени
плавают в недрах влаги, торпедируя сети:
они отъедают головы сладким сигам,
а туловища оставляют.
Иногда
эта операция увенчивается триумфом тюленей,
иногда
результаты ее плачевны:
рыбаки вынимают тюленей одновременно с рыбой.

и прикуривает от фотопленки;
третий «ты»
наблюдает,
как пылают узкие листья газа,
и на фоне пыланья
эмалированный контур кастрюли,
в которой
в результате проникновенья молекул всды
и пара

в молекулы
кипящей капусты,
перловой крупы
и бараньей ноги с мозговой костью
образуется новый химический элемент
(несправедливо им пренебрег Менделеев!) —
щи с бараниной;
остальные четыре «ты»
рядышком, как высоковольтные воробьи,
обсуждают международную ситуацию Кипра
и что Яшин такой же фатальный вратарь,
как Ботвинник — чемпион мира по шахматам),
в общем:
в комнате вашей царит современность
и внутренний мир преобладает,
а ты:

Художник

в сомнамбулической стадии «творческого
процесса»

испещряешь страницы
злободневными фразами изъяснительного
наклоненья,

а страницы — немые,
потому что на самом деле ты — спишь,
а страницы не осуществлены,

как вырезанные,
но не вставленные в окна стекла
(а за стеклами окон —
окончательно черное небо,
в нем ни щели,
ни иголочного прокола,
окончательно черное небо
с еще более черными кляксами туч
и ломаными линиями молний,
числом — без числа,
а за стеклами окон — пять рыбаков,
пять брезентовых многоугольных фигур
на границе воды и суши,
поджимая студёные, посинелые губы, —
их лица небриты,
на каждом несбритом волоске лица
капелька пота, —
пять брезентовых рыбаков,
манипулируя волосатыми сверкающими руками,
промывают соляркой мотор;
их лица не предвещают улыбок);
и сегодня в вашу комнату, где она и
где ты, погрузилась внезапно одна из
утренних молний, и никто не подумал,
что молния — аллегорична, ибо знали
два века: это явление природы;
может быть, перепутала молния вашу
комнату и моторную лодку с рыбаками? —
так погрузилась она,
представительница мира молний,
и конструкция вашего мира распалась,
как стихотворенье,
из которого вынули первую строчку;
лишь мерцал треугольный кусочек

выбеленного неба,
он, кусочек, упал на кучу навоза,
на кучу,
 которую вы
 из отглянцованного окна
 демонстративно не замечали,
однако она существовала,
невзирая на ваши
 усложненные, катастрофические переживания,
и на куче навоза два петуха,
разодетые в перья первомайского неба, —
два петуха
 лихорадочно,
 но и величаво сражались:
тот, кто победит,
 извлечет жемчужину
 из пучины навоза;
и мычали, мычали коровы в хлевах,
и по-утреннему неодетые люди
закрывали марлей открытые на ночь окна...
Слушай:
да не минуют нас беды,
да не минует нас мир,
 наименованный «мир молний»,
конструкция ваша распалась,
убежали
Семь напуганных Братьев,
их пятки сверкали,
 как фонарики пограничной охраны;
слушай и просыпайся, отвлекись на секунду
 от своих сновидений, —
а над зеленой землей,
пропитанной миллионами молний,
вырисовываются березы,

Величиной и звучаньем они приближались
к секундам,
ползали пчелы — миниатюрные зебры на крыльях.
На васильки
жар возлагал дрему.
Лютики
созерцали сенокос,
и не моргали их ослепительно желтые очи,
Бледноволосые женщины
травы июля свергали.
В медленном небе
сверкали, как белые молнии, косы!
Шел сенокос. . .

4

Только никто не увидел
(кто увидел — не обратил вниманья),
как восемнадцать часов оккупировали деревню,
как наводнили часы тишину
и разожгли восемнадцать сторожевых костров-
невидимок.

Это часы доили коров,
придерживая за костяные короны.
Это часы
обогащали клубни и злаки,
это часы
поворачивали то один, то другой
выключатель.

Это часы
около бани кололи лучину.
Это они, восемнадцать часов,
колебали младенческие коляски.

Это уже,
озаренное озеро переплывая,
салютовал девятнадцатый час,
и ногти его поблескивали,
как линзы биноклей.

Это уже за каналом маячил двадцатый.

А
был
он Художник.

Он современность перебирал,
превозмогая помарки.
Медленно двигалась стрелка пера
по циферблату бумаги.

* * *

Художник пробовал перо,
как часовой границы — пломбу,
как птица южная — полет! ..
А я твердил тебе: не пробуй,

избавь себя от «завершенья
сюжетов», «поисков себя»,
избавь себя от «совершенства»,
от братьев почерка избавь!

Художник пробовал. . . как плач —
новорожденный, тренер — бицепс,
как пробует топор палач
и револьвер самоубийца!

А я твердил тебе: осмелся
не «пробовать» — взглянуть в глаза
неотвратимому возмездью
за словоблудье, славу, за

уставы, идолопоклонство
усидчивым карандашам. . .
А требовалось так немного:
всего-то навсего — дышать. . .

Белый вечер

Белый вечер, белый вечер.
Колоски зарниц.

Не кузнечик, а бубенчик
надо мной звенит.

Белый вечер, белый вечер,
блеяние стад.

И заборы, будто свечи
бледные, стоят.

Прошумят березы скорбно,
выразят печаль,
процитируют: о, скоро
твой последний час.

Что же, скоро, — я не дрогну
в мой последний час.

Не приобрету в дорогу
ни мечей, ни чаш.

Не заполучу надежды
годовщин и книг.

Выну белые одежды
и надену их.

Белый вечер, белый вечер.
Колоски зарниц.

И кузнечик, как бубенчик,
надо мной звенит.

* * *

Уже не слышит ухо эха
потусторонних песен птиц.
И вороны и воробьи
и улетели и уснули.
Уже большие звезды неба
иллюминировали ели.
Как новогодние игрушки,
они висели на ветвях.
А маленькие звезды леса,
а светлячки за светлячками
мигали, как огни огромных
и вымышленных государств,
где
в темноте, как циферблаты,
фосфоресцировали очи
обыкновенной птицы филин,
где
гусеницы, как легенды,
распространялись по деревьям,
где
на фундаментах стояли
капитолийские деревья,
как статуи из серебра,
где
бабочки на белых крыльях
играли, как на белых арфах,
где
в молодых созвездьях ягод
ежеминутно развивались
молекулы живых существ,

•

где
белокаменные храмы
грибов

стояли с куполами
из драгоценного металла,

где
так мультипликационно
шли на вечернюю молитву
малюсенькие муравьи,

где
над молитвой муравьиной
смеялся спичечный кузнечик,
но голос у него был мал,
увы,
совсем не музыкален.

* * *

Тише, тише,
мысли-мышы,
кот на крыше —
кыш! кыш!
Кот-мяука
ловит муху-
цокотуху,
мой малыш!

Тише, тише,
мысли-мышы...
Кто на крыше?
Кыш! кыш!
Это бесы
плачут в бедных
колыбелях,
мой малыш!

Тише, тише,
мысли-мышы,
боги слышат,
мой малыш!
Боги эти
тоже дети,
а на свете
лишь тишь... ,

Когда нет луны

Одуванчики надели
белоснежные скафандры,
одуванчики дудели
в золоченые фанфары!

Дождевые вылезали
черви, мрачные, как маги,
одуванчики вонзали
в них свои стальные шпаги!

Паучата-хулиганы
мух в сметанницы макали,
после драки кулаками
маки мудрые махали.

И мигала баррикада
яблок
 в стадии борьбы
с огуречною бригадой!
Барабанили бобы!

Поле — полем — бездорожьем
(борозды наклонены)
пробираюсь осторожно,
в бледном небе —
 ни луны.

Кем ее

огонь растерзан?

Кто помирят мир бездонный,
непомерный мир растений,
темнотой загроможденный?

Сентябрь

Сентябрь!

Ты — вельможа в балтийской сутане.

Корсар!

Ты торгуешь чужими судами.

Твой жемчуг — чужой.

А торговая прибыль?

Твой торг не прибавит

ни бури,

ни рыбы.

А рыбы в берлогах морей обитают.

Они — безобидны.

Они — опадают.

Они — лепестки.

Они прилипают

ко дну,

испещренному плавниками.

Сентябрь!

Твой парус уже уплывает.

На что, уплывая, корсар уповаешь?

Моря абордажами не обладают.

Лишь брызги, как листья морей, опадают.

Любимая!

Так ли твой парус колеблем,

как август,
 когда,
 о моря ударяясь,
звезда за звездой окунают клени...

Да будет сентябрь с тобой, удаляясь.

* * *

Ты уходишь,
как уходят в небо звезды,
заблудившиеся
дети рассвета,
ты уходишь,
как уходят в небо
на кораблики похожие птицы.

Что вам в небе?
Наша мгла сильнее снега.
Наше солнце
навсегда слабее сердца.
А кораблик
журавля на самом деле —
небольшое
птичье перышко, не больше.

Ты уходишь.
Отпускаю, потому что
опустели
сентябри моими журавлями.
До свиданья.
До бессонных сновидений,
до рассвета,
заблудившегося в мире.

Осень в Михайловском

1

Где готические ели,
цепи храбрые хвои,
путешествуют по елям
дятлы в мантиях Востока.

Там живут живые шишки
в деревянных париках,
размышляет о дожде
белый гриб — Сократ.

Саблезубые собаки
бегают и лают.
Поднимаются у зайцев
царские усы.

По холмам — холодным храмам, —
как монахини, вороны
механические ходят
и вздыхают. . .

И когда замерзла клюква,
и тогда взлетели листья.
О Летучие Голландцы,
распугали птиц!

Разворачивают парус
журавли — матросы неба,

улетают, улетают
на воздушных кораблях.

2

Улетели птицы и листья.
Небеса — водяные знаки.
По стеклянной теплице ходит
цапля в белом, как дева в белом.

Однозвучен огонь.

Мигают
многоглазые канделябры.
Ты один. В деревянном доме
деревянная тишина.

Улетели пчелы и утки.
В небесах — невидимки-бесы.
А вчера уползли улитки
в сердцевину земного шара.

Ты один в деревянном мире.
Черной молнией по бумаге
пробегает перо воронье,
и чернеют черновики.

Пчелы в ульях, улитки в недрах.
И у птиц опадают крылья.
Перелетные птицы, где вы?
Опустели улицы неба.

За стеклянной решеткой ходит
цапля в белых, как бал, одеждах,
чертит клювом на мглистых стеклах
водяные знаки свои.

* * *

В твоих очах, в твоих снегах
я, путник бедный, замерзаю.
Нет, не напутал я, — солгал.
В твоих снегах я твой Сусанин.

В твоих отчаянных снегах
гитары белое бренчанье.
Я твой солдат, но не слуга,
слагатель светлого прощанья.

— Нас океаны зла зальют...
О, не грози мне, не грози мне!
Я твой солдат, я твой салют
очей, как небо, негасимых.

Каких там, к дьяволу, услад!
Мы лишь мелодию сложили
про то, как молодость ушла,
которой, может быть, служили.

Начало ночи

Над Ладогой пылала мгла
и, следовательно, — алела.
Зима наггела, как могла:
ей вся вселенная — арена.



И избы иней оросил.
(Их охраняли кобелями.)
И ворон,
 воин-сарацин,
чернел,
 налево ковыляя.

И кроме — не было ворон.
С ним некому — в соревнованье.

Настольной лампочки лимон
зелено-бел.
Он созревает.

И скрылся ворон. . .
 На шабаш
шагала ночь в глубоком гриме.

Искрился только карандаш,
не целиком,
а только грифель.

* * *

Знал и я раньше,
да и недавно,
страх страницы...
Написать разве,
как над Нотр-Дамом —
птицы, птицы.

Рассветал воздух,
воздух звезд. Луны
уплывали.
Транспорт пил воду
химии. Люди —
уповали.

Про Париж пели
боги и барды
(ваша — вечность!).
Ведь у вас — перлы,
бал — баллады,
у меня — свечка.

И метель в сердце —
наверстай встречи!
Где моя Мекка?
В жизни и смерти
у меня — свечка,
мой значок века,
светофор мига,
мой простой праздник,
рождество, скатерть...

Не грусти, милый,
все — прекрасно,
как — в сказке.

Гении горя
(с нашим-то стажем!),
мастера муки!
Будь же благ, город,
что ты дал даже
радость разлуки.

Башенки Лувра,
самолет снится,
люди — как буквы,
лампочки — луны,
крестики — птицы. . .
Будь — что будет!

Мартынов в Париже

Вы видели Мартынова в Париже?

Мемориальны голуби бульваров:
сиреневые луковицы неба
на лапках нарисованных бегут.
Париж сопротивляется модерну.
Монахини в отелях антикварных
читают антикварные молитвы.
Их лица забинтованы до глаз.

Вы видели Мартынова в Париже?

Мартынов запрокидывал лицо.
Я знаю: вырезал краснодеревщик
его лицо, и волосы, и пальцы.
О, как летали золотые листья!
Они летали хором с голубями,
они как уши мамонтов летали,
отлитые из золота пружины.
Какие развлеченья нам сулили,
какие результаты конференций!
Видения вандомские Парижа!

А он в Париже камни собирал.

Он собирал загадочные кремни:
ресницы Вия, парус Магеллана,
египетские профили солдат,
мизинцы женщин с ясными ногтями.

Что каждый камень обладает сердцем,
он говорил, но это не открытье,
но то, что сердце — середина тела,
столица тела, это он открыл.
Столица, где свои автомобили,
правительства, публичные дома,
растения, свои большие птицы,
и флейты, и дюймовочки свои. . .

Был вечер апельсинов и помады.
Дворцы совсем сиреневые были.
Париж в вечернем платье был прекрасен,
в вечернем и в мемориальном платье.

Он появился, как скульптура
на набережной.
Наш старик
пришел сюда с лицом Сатурна,
сюда,
и сам себя воздвиг.

Старик всю жизнь алкал коллизий,
но в президенты не взлетел.
Все признаки алкоголизма
цитировались на лице.

В пижаме из бумажной прозы,
изгоев мира адмирал,
он отмирал.
И то не просто —
он аморально отмирал.

Он знал: его никто не тронет,
все в мире — бред и ерунда.
Он в тротуар стучал, как тростью,
передним зубом
и рыдал:
— Я ПОТЕРЯЛ ЛИЦО!
Пряатель!
Я — потерял.
Не поднимал?

Но пьян «приятель». И превратно
приятель юмор понимал:
— Лицо?
С усами?

(И ни мускул
не вздрогнул. Старичок дает!)
Валяется тут всякий мусор,
возможно, поднял и твое!

2

Какое красок обедненье!

И номера домов бледнели,
на Сене шевелились листья,
на Сену угольщики шли.
У женщин уличные лица
у Тюильри,
у Тюильри.

На Сене вспыхивали листья,
как маленькие маяки,
за стеклами
шоферов лица —
бледно-зеленые мазки.

Многоугольны переплеты
окаменелостей-домов.
Все номера переберете
у многовековых домов,
откроете страницу двери,
обнимете жену-тетрадку,
под впечатлением таверны
протараторите тираду,
что стала ваша жизнь потолще,
что вы тучнее, как злаки,
что лица вашего потомства —
как восклицательные знаки!

Прохожий, ты, с улыбкой бодрой,
осуществи, к примеру, подвиг:
уединись однажды ночью —
поулыбайся в одиночку.

Не перед судьями Сорбонны,
не перед женщиной полночной,
не перед зеркалом соборным —
поулыбайся в одиночку.

Ни страха глаз не поубавив,
ни слезы не сцедив с ресниц, —
дай бог тебе поулыбаться,
во всяком случае рискни!

Когда идет над берегами,
твердея, ночь из алебастра
на убыль,
ты,
не балаганя,
себе
всерьез
поулыбайся!

3

Сидела девочка на лавке,
склоня вишневую головку,
наманикюренные лапки
ее лавировали ловко.

Она прощупывала жадно
лицо, чтобы его приклеить,
лицо,

которое держала
на лакированной коленке.

Она с лица срезала капли
сует излишних,
слез излишних,
ее мизинчик — звонкий скальпель —
по-хирургически резвился.

Она так долго суетилась,
искала так,
и вот сегодня
СВОЕ ЛИЦО НАШЛА статистка,
и вот пора его освоить.

Заломленный вишневый локон
был трогательно свеж и мил.
Прооперировано ловко.
Перед экраном дрогнет мир!
Лицо ее — как звезды юга!
Свое! Мечтательницы юной!
И цельное лицо. Процессы
отображаются большие,
такое, как у поэтессы,
как у божественной Брижитты.

Теперь бы туфельками тикать
да на какого короля
бряцающий надеть канат
под видом тихой паутинки.

Любовь была не из любых:
она — любила,
он — любил.

И Мулен-Руж в нарядах красных
вращала страсти колесо!
Любили как!
Он — ПОТЕРЯВШИЙ,
она — НАШЕДШАЯ ЛИЦО!
Он — адмирал,
она — Джульетта,
любили,
как в миллионах книг!
За муки ведь его жалела,
а он — за состраданье к ним!
Все перепутал чей-то разум.
Кто муж?
Которая жена?
Она не видела ни разу
его,
а он — и не желал!

Возможно, разыграли в лицах
комедию?
Так — не прошла.
Большое расхождение в лицах:
он — ПОТЕРЯЛ,
она — НАШЛА.

Дыхание алкоголизма.
 Сейчас у Сены цвет муки.
 Поспешных пешеходов лица
 как маленькие маяки.
 Да лица ли?

Очередями
 толпились только очертанья
 лиц,

но не лица.

Контур мочки,
 ноздря,
 нетрезвый вырез глаза,
 лай кошки,
 «мяу» спальной моськи. . .

Ни лиц,
 ни цели
 и ни красок!

Перелицовка океана —
 речушка в контуре из камня
 да адмирала рев:

— Ажаны!
 ЛИЦО ИЩУ! —

Валяй, искатель!

Все ощутит прохожий вскоре —
 и тон вина,
 и женщин тон.
 Лишь восходящей краски скорби
 никто не ощутит. Никто.

Прохожий,
 в здания какие —

в архитектурные архивы
войдешь,
 не зная, кто построил,
в свой дом войдешь ты посторонним.

Ты разучил, какие в скобки,
какие краски — на щиты,
лишь восходящей
 краски
 скорби
тебе уже не ощутить.

Познал реакцию цепную,
и «Монд», и Библию листал.
Лицо любимое целуешь,
а у любимой
нет
лица.

* * *

Во всей вселенной был бедлам.
Раскраска лунная была.

Там, в негасимой синеве,
ушли за кораблем корабль,
пел тихий хор простых сирен.
Фонарь стоял, как канделябр.

Как факт — фонарь. А мимо в мире
шел мальчик с крыльями и лирой.
Он был бессмертьем одарен
и очень одухотворен.

Такой смешной и неизвестный,
на муку страха или сна
в дурацкой мантии небесной
он шел и ничего не знал.

Так трогательно просто (правда!)
играл мой мальчик, ангел ада.

Все было в нем — любовь и слезы
(в душе не бесновались бесы!),
рассвет и грезы, рок и розы.
Но песни были бессловесны.

Душа моя. А ты жила ли?
Как пес, как девушка, дрожа...
Стой, страсть моя. Стой, жизнь желаний.
Я лиру лишнюю держал.



В душе моей лишь снег да снег.
Там транспорт спит и человек.
Ни воробьев и ни собак,
Одна судьба. Одна судьба.

Фантазии совы

1



Полночь протекала тайно,
как березовые соки.
Полицейские, как пальцы,
цепенели на углах.
Только цокали овчарки около фронтонов зданий
да хвостами шевелили,
как холерные бациллы.
Дрема. Здания дремучи,
как страницы драматурга,
у которого действительность за гранями страниц.
Семь миллионов занавесок загоразживало действие,
семь миллионов абажуров
нагнетало дрему.
Но зато на трубах зданий,
на вершинах водосточных
труб,
на изгородях парков,
на перилах,
на антеншах —
всюду восседали совы!
Это совы, это совы, — узнаю кичливый контур, —
в жутких шубах, опереньем наизнанку — это совы
улыбаются надменно,
обнажая костяные
губы,
озаряя недра зданий
снежно-белыми глазами...

На антенне, как отшельница,
взгромоздилась ты, сова.
В том квартале, в том ущелье
ни визитов, ни зевак.

Взгромоздилась пребольшая
грусть моя, моя гроза.
Как пылают, приближаясь,
снежно-белые глаза.

Снежно-белые, как стражи
чернокожих кораблей.
Птица полунóчной страсти
в эту полночь — в кабале.

Ты напуган? Розовеешь,
разуверенный стократ?
Но гляди:
в глазах у зверя
снежно-белый — тоже страх!

Раз-два! Раз-два!
По тротуарам шагает сова!

В прямоугольном картонном плаще,
медный трезубец звенит на плече,
мимо домов — деревянных пещер —
ходит сова и хохочет.

Раз-два! Раз-два!
По тротуарам крадется сова!

Миллионер и бедняк — не зевай,
бард, изрыгающий гимны-слова, —
всех на трезубец нанижет сова,
как макароны на вилку!

Раз-два! Раз-два!
На тротуарах ликует сова!

Ты уползаешь? Поздно! Добит!
Печень клюет, ключицы дробит,
шрамы высасывая, долбит
клювом, как шприцем, как шприцем.

Раз-два! Раз-два!
На тротуарах рыдает сова.

В тихом и темном рыданье — ни зги,
слезы большие встают на носки,
вот указательный палец ноги —
будто свечу — зажигает...

4

Мундир тебе сковал Геракл
специально для моей баллады.
Ты, как германский генерал,
зверела на плече Паллады.

Ты строила концлагерей
концерны,
ты — не отпирайся!

Лакировала лекарей
для опытов и операций.

О, лекарь догму применял
приманчиво, как примадонна.
Маршировали племена
за племенами в крематорий.

Мундир! Для каждого — мундир!
Младенцу! мудрецу! гурману!
Пусть мародер ты, пусть бандит,
в миниатюре ты — германец!

Я помню все. Я не устану
уничтожать твою породу
за казнь и моего отца,
и всех моих отцов по роду:

с открытым ли забралом,
красться ли
с лезвием в зубах, но — счастье
уничтожать остатки свастик,

чтоб, если кончена война,
отликовали костылями,
не леденело б сердце над
концлагерями канцелярий.

Дождь-декабрь

Доля декад:
календарные солнце-луна.
Дождь и декабрь.
Вся фантазия — боже! — больна.
Верил в статут:
это море мороза в лесах! . .
Вербы цветут.
Лес в поганках, залив в волосах.
Тает зола:
это небо надежд и могил,
там в зеркалах
замутненные лица мои
в капельках слез,
по окружностям плеск-пелена. . .
В карликах звезд
вся фантазия тоже больна.
Спится, и сон:
я — отшельник, в пустынь отошел.
Списками сов
и клыками слонов окружен.
Так мало жить:
на коленях коней-колесниц,
да миражи
человеческих кактусов-лиц.
Желудь клевал
одноглавый орел и. . . душил.
Шел караван
по пустыням-безлюдьям души.

День донимал:
семь верблюдов кувшины несли.
Не до меня.
Семь погонщиков шли — не нашли,
и не могли,
потому что я был в декабре.
Инеем мглы
обрисованы скалы дерев.
Где же снега?
Белолобая в блеске луна?
Грешен, солгал:
вся фантазия — больше больна!
Дождь с облаков.
Но декабрь тепла не терял.
Что ж. С Новым го-
дом,
с Новым годом тебя!

* * *

Сколько используешь калорий
для зарифмованного бреда?

Как распрямляешь кривую крови
своих разноплеменных предков?

Каких подонков караулишь?
Как бесподобен с королями?

Как регулируешь кривую
своих каракулей,
кривляний?

Как удаляешь удобренья
с опять беспутного
пути?

Гудят глаголы, как деревья
промерзшие,
и в хлопьях птиц!

* * *

Празднуем прекрасный вечер
с электрической свечой,
с элегичностью зловещей...

Почему молчит сверчок?
Свежей песней не сверкает?
Страхи не свергает?

Мы шампанское «Палермо»,
помидоры и балык
пользуем попеременно...
Пальцы у девиц белы.

Варимся — вороны в супе...
А сверчок не существует.
Ни в камине.
Ни в помине.
И ни по какой причине.

Колыбельная колыбели

На коляске, на коляске
золотой петух сияет,
у него уснули глазки,
он зевает и зевает, —
Пе-тух!

А в коляске завязались
маленькие ручки-ножки...
сны... петух... берлоги... зайцы...
сладких снов и нежной ночи —
Дет-ка!

А по небесам над нами
ангел-ангел вверх ногами,
две луны, как два дельфина,
что за чудо, что за диво, —
Звез-ды!

Баллада Редингской тюрьмы

(Оскар Уайльд. *Вольный перевод*)

Не в алом, атласном плаще,
с алмазной пряжкой на плече,
костляв, как тауэрский нож,
он пьян и ранен был,
когда в нечаянную ночь
любимую убил.

Над Лондоном луна-монокль,
а Лондон подо льдом.
Летает рыба надо мной
вся в нимбе золотом.
Летает рыба. Клюв, как шпиль,
мигает на милионы миль.

Ты, рыба, отложи яйцо.
Яйцо изымет лорд.
Он с государственным лицом
детеныша убьет.
Для комплекса добра и зла,
мой сэр, еще сыра земля.

Мы знаем этот шар земной,
сие жемчужное зерно,
где маразматика семьи
блудливы, но без сил,
где каждый человек земли
любимую убил. . .

На нас начальник налетал.
Он бил бичом и наблюдал,
чтоб узник вежливо дышал,
как на приеме принц,
чтоб ни луча, ни мятежа,
ни человеческих лиц.

В наш административный ад
и ты упал, Уайльд.

Где Дориан?

Где твой прогноз —
брильянтовый уют?

Вон уголовник произнес:

— И этого убьют.

Ты был, как все мы, за ключом,
в кассеты камня заключен,
кандальной речью замелькал
когда-то дамский шаг,
как мы, ты загнанно мигал,
как мы, еще дышал.

Актер! Коралловый король!

Играй игрушечную роль!

На нарах ублажай и зли
библейских блох, Уайльд.

Ведь каждый человек земли
Уайльдов убивал.

Не государство и не век,
не полицейский идеал,
а каждый честный человек
Уайльдов убивал.

Кто мало-мальски, но маляр,
читал художнику мораль.

овчарок на стенах,
параши в камере, поли-
ции в бесцельных снах.

Им не осмысливать лимит
мерзавцев, названных людьми
(один — бандит, другой — слюнтяй,
четвертый — негр параш),
они следят, следят, следят, —
и не молись, не плачь.

Нам не убить себя. Следят
священник и мильон солдат,
Шериф, тяжслый, как бульдог,
и нелюдимый без вина,
и губернатор-демагог
с ботинками слона.

Не суетиться мертвецам —
у Стикса медленно мерцать,
им не напяливать белье,
белье под цвет совы,
не наблюдать, как мы блюем
у виселиц своих.

Нас, как на бойню бедных кляч,
ведет на виселицу врач,
висят врачебные часы —
паук на волоске,
пульсируют его часы,
как ужас на виске.

Идут часы моей судьбы
над Лондоном слепым.

Не поджидаю день за днем
ни оргий, ни огней.
Уж полночь близится
давно,
а гения все нет.

Что гений мне? Что я ему?
О, уйма гениев!
Уму
над бардаком не засверкать
снежинкой серебра,
будь гениальнее стократ
сам — самого себя!

Ты сказку, сказку береги,
ни бесу, ни себе не лги,
ни бесу, ни себе не верь,
не рыцарствуй на час,
когда твою откроет дверь
определенный час.

Он примет формулу твою:
— Чем заняты Вы, сэр? —
Творю. —

По сумме знаний он — лицей,
по авантюрам — твой собрат,
как будто бы в одном лице
Юл Бриннер и Сократ.

Он в комнату мою проник,
проникновенный мой двойник.
Он держит плащ наперевес,
как денди дамское манто...
Но ты меня наперерез
не жди, мой матадор.

Разлука звериного лая со страхом совиным,
разлука рассвета со звездами в красной воде,
ты, память моя, —
ты разлука
цепей с целым царством — рабовладением сна.

Когда опустеют все тюрьмы последнего сердца,
тогда ты поймешь:
мир прекрасен одними скорбями скорбей,
не узник тоскует в тюрьме —
это тюрьмы тоскуют в разлуке,
и смерть это вовсе не смерть,
а разлука со смертью своей.

Спасибо.

За все фонари, за дожди нефтяные, ночные. . .

* * *

И ко сну отошли рекламы.
Фонари,
 фонари трехглавы:
Так и есть — фонари трехглавы:
две зеленых, над ними желтая
голова.

Ночь дремуча.
Дома дремучи.
И дремучие головешки —
бродят маленькие человечки,
и ныряют в свои кормушки,
разграфленные по этажам,
и несут иконы в кормушки,
мельтешась.

Купола, минареты, маковки
в ожидании мятежа!..

Бродят маленькие человечки:
головы — головешки.
Выбирают,
 во что поверить?
Сколько веяний... поветрий... ,



* * *

Фонари опадают.

Опадают мои фонари.

Целые грозди электрических листьев
примерзают к уже не зеленой земле.

Эти листья
на ощупь — неосязаемы
(это листья моих фонарей!),
по рисунку — негеометричны,
по цвету — вне цвета.
Без единого звука

листья моих фонарей
примерзают к уже не зеленой земле.

А деревья, к примеру, опадают не так.

Как они опадают!

Ах, как обучились деревья
опадать! Как вызубрили осень —
от листка до листка,
от корки до корки!

И когда опадают деревья —
выявляй, проходящий, запасы печали!

Незаметно для всех опадают мои фонари.

Но они опадают —

я-то знаю,
я вижу.

Детская песенка

Спи, мой мальчик, мой матрос.
В нашем сердце нету роз.
Наше сердце — север-сфинкс.
Ничего, ты просто спи.

Потихоньку поплывем,
после песенку споем,
я куплю тебе купель,
твой кораблик — колыбель.

В колыбельке-то (вот-вот!)
вовсе нету ничего.
Спи. Повсюду пустота.
Спи, я это просто так.

Сигаретки — маяки,
на вершинах огоньки.
Я куплю тебе свирель
слушать песенки сирен.

Спи, мой мальчик дорогой.
Наше сердце далеко.
Плохо плакать, — все прошло,
худо или хорошо.

* * *

Мы плыли уже семь дней,
семь дней мы плыли.
И не было ни силуэта,
ни слова в тумане,
и не было ни небес, ни беспокойства,
ни «здравствуй» и ни «прощай»
ни в прошлом, ни завтра.

Плыви, наш корабль, плыви,
плывем, товарищ,
такая тоска — туман,
страна немая.
Вся наша судьба — туман,
как мрамор, белый,
где не было ничего,
что не бывало.

* * *

Прощай, Париж!
Летают самолеты,
большое небо в красных параллелях,
дожди, как иностранные солдаты,
идут через Голландию в Берлин.

Прощай, Париж!
Я не уеду боле
туда, где листья падают, как звезды,
где люстры облетают, как деревья,
на улицы квартала Вавилон.

Прости за то, что миллион предчувствий
в моей душе, как в башне Вавилона,
прости мои монгольские молитвы,
монашество мое и гамлетизм.

Прости за то, что не услышал улиц,
моя душа — вся в красных параллелях.
Кто мне сулил исполненное небо?
Такого неба нет и не бывало.

Как убывают люди и минуты!
Атлантов убаюкали моллюски.
Как я умру, не зная, кто из граждан
мне в уши выливал яд белены?

Прощай, прощай и помни обо мне...

Музыкант

Как свечи белые, мигала тишина.
Из крана капала и капала луна,
такая маленькая, капала теперь,
из крана капала и таяла в трубе.

Как свечи белые, маячили в ночи
так называемые лунные лучи,
а та луна, а та небесная была
в кружочках цифр, как телефонный циферблат.

Совсем иные, иноземные миры,
висели звезды, как бильярдные шары.
В бубновых окнах лица женщин и мужчин
чуть-чуть прозрачнее, чем пламя у свечи.

Я был в неясном состоянье перед сном.
Я был один, и был один старик со мной.
Но был он в зеркале, таинственный старик:
в шампанских бакенбардах современный лик.

Он делал пальцами, как делает немой.
Как свечи белые, мигали у него
немые пальцы. Этот мученик зеркал
на фортепьяно что-то странное играл.

Мою чайковскую луну и облака,
как Дебюсси, он в си- бемоли облакал,
то патетические солнца и латынь —
он мне, слепцу, мой музыкальный поводырь.

Еще старик играл такое попури:
— Все это было — твой парнас и твой париж,

но ты не жил и не желал,
увы и ах!
существованье музыканта — в зеркалах.

Лишь в зеркалах твои сожженные мосты,
молитвы мутные, минутные мечты.
Я — тварь земная, но нисколько не творю,
я лишь доигрываю музыку твою.

Мы — Муки творчества. Нас ждет великий суд.
У нас, у Муков, уши длинные растут.
Но наши уши постепенно отцвели,
спасает души повседневный оптимизм.

Я презираю мой му-чительный талант...
А по мостам ходили белые тела.
Как свечи белые, маячили в ночи
тела одетые у женщин и мужчин.

Играл орган в необитаемых церквах.
Его озвучивали Гендель или Бах.
Фонарик в небе трепетал, как пульс виска.
И в небе с ним — необъяснимая тоска.

О музыкант, какой ты ни бери бемоль,
минорный край твой есть, как мания, немой.
О музыкант, ты музыкант в своем числе!

О поводырь, как и ведомые, ты слеп.
Взойдет ли солнце, очи выела роса.
Как водяные знаки, бедные глаза.
О музыкант, меня ты не уговорил.
Ты улыбнулся и на улицу уплыл.
Так ты уплыл. Но я нисколько не скорблю:
большое плаванье большому кораблю.

Парус

Парус парит! Он планирует близко,
блещет — шагах в сорока.

Будет ли буря?
Разнузданы брызги,
злоба в зеленых зрачках!

Будет, не будет, не все ли едино?
Будет — так будет. Пройдет.
Жирные птицы мудро пронзают
рыбу губой костяной.

Передвигаются древние крабы
по деревянному дну.
Водоросли ударяются нудно
туловищами о дно.

Вот удаляется ветреник-парус.
Верит ли в бурю, бегун?
Вот вертикальная черточка — парус...
Вот уж за зримой чертой.

Буря пройдет — океан возродится,
периодичен, весóm,
только вот парус не возвратится.
Только-то. Парус.
И всё.

Балтийское утро

Кто утром увидел море —
толпища какой-то пятой
голубой расы
(их волосы веселились),

кто утром увидел чаек,
как они стояли
на валунах из меди и мела —
как статуэтки
из датского фарфора
на ножках —
красных камышинках,

кто утром увидел дюны,
пропитанные соком
песчаного меда,
а на дюнах улитки —
крохотные козочки
в древнеримских касках —

и еще моллюски —
мертвые очи моря,
распахнутые веки
раковин из перламутра,

кто утром увидел сосны
в китайских кружевах
просыпающейся хвои,
их золотые столбы —
как символы солнца,

кто утром увидел белок —
космические пляски
на крылышках пушистых,
а шишки в объятьях лапок —
скипетры их маленьких
величеств. . .

Море замерзнет солью,
дюны распустят песчинки,
улитки и моллюски
вернутся в свои века, —

а кто не утратил утра,
умрет — все равно воскреснет!

У моря

О море, море. В бумажных листьях.
В кружочках рыб.
Лишь красный гром на горизонте, —
там солнце в образе Горгоны
с двумя глазами без ресниц,
а на губах вода волны.
Сентябрь.

Ну что ж, стихия. Слезы птиц
по морю, как следы Ахилла.
Где водолазы-аргонавты,
твои хваленые Харибды,
те триста — в шлемах Геллеспонта?
Вот я. Глаза в глаза Горгоны
и, как сказать? — не каменею,
пью языком волну воды.
Лишь — сентябрь.

О небо, небо. Лучик-ключик
устал, упал и утонул,
и чайки машут так двумя крылами,
как листьями кленовыми. Горгона
двуглазое страшилище, но — мать
Пегаса. . . Небо — гневный миф
Беллерофонта, горе-кифареда:
был сын богов, любил, мечтал о чем-то.
Но взял Пегаса. Но Пегас, почуяв,
что он оседлан и уже в узде,

чуть-чуть захлопнул золотые крылья —
мальчишку сбросил в море. Умер он.
(А море обливалось облаками!)

Лишь буква-миф о нем на горизонте
чуть-чуть читался.

И мертвые глаза
мифического кифареда
клевали чайки. И вода всех волн
бежала в сентябре и убежала,
как конница. . . Сентябрь, я говорю.

Не забывай: на море — небо.
Но раковины ли? А может, маски
тех мореплавателей детства,
где листья молний и плоды цветов
грядущих государств?
где, может быть, витает голова
Беллерофонта, где? на горизонте?
а может, в грезах? и еще спасти
его возможно? . . . Только — ни к чему.

Лишь встрепенутся веки — оседлает
Пегаса. И уздой завяжет зубы.

И пальцы — в кровь кифары. Вздрогнут
крылья —

и снова будет сброшен. И умрет.

И это все случится и сейчас.

В любой сентябрь.

У моря моря в листьях листьях
однажды выйдет из волны воды
твой Конь (я повторяю — сын Горгоны!),
не голубь — он крылами не охватит,
не корифей — и что ему кифара,
он станет так: глаза в глаза.

И ты уже не кифаред, а камень.
А что ему. Уйдет, как и пришел,
в утробу матери. И голова Горгоны
взойдет грозой над горизонтом,
двуглазая. Чтоб знало все живое,
на что идет, что ищет,
играя в игры крыльев и кифар.

Продолжение Пигмалиона

Теперь— тебе: там, в мастерской, маски,
тайник и гипс и в светлячках воздух. . .
Ты Галатею целовал, мальчик,
ты, девочка, произнесла вот что:

«У нас любовь, а у него маски,
мы живы жизнью, он лишь труд терпит,
другую девушку — он метр, мастер, —
ему нетрудно, он еще слепит!»

Так лепетала ты, а ты слышал,
ты пил со мной и ел мои сласти,
я обучал тебя всему свыше, —
мой мальчик, обучи ее страсти!

Мой ученик, теперь твоя тема,
точнее тело. Под ее тогой
я знаю каждый капилляр тела,
ведь я — творец, а ты — лишь ты. Только

в твоей толпе. Теперь — твоя вежа.
И — молотками весь мой труд, трепет,
и — молотками мой итог века!
«Ему нетрудно, он еще слепит!»

Теперь — толпе. Я не скажу «стойте».
Душа моя проста, как знак смерти.
Да, мне нетрудно, я слеплю столько. . .
Скульптуры — что там! — будет миф мести.

Теперь убейте. Это так просто.
Я только тих, я только в труд — слепо.
И если бог меня лепил в прошлом —
ему нетрудно, он еще слепит!

Гамлет и Офелия

Фрагмент

Г а м л е т

Неуютно в нашем саду,
соловьи да соловьи.
Мы устали жить на свету,
мы погасим свечи свои.

Темнота, тихо кругом,
лает пес, теплится час.
Невидимка-ангел крылом
овекает небо и нас.

Неуютно в нашем дворце,
все слова, Гамлет, слова.
И сидит в вечном венце
на твоём троне сова.

Это рай или тюрьма?
Это блеск или луна?
В небесах нежная тьма,
Дух Святой, дьявол она.

Неуютно в наших сердцах,
целовать да целовать.
Уплывем завтра, сестра,
в ту страну, где благодать.



О ф е л и я

Где страна, где благодать?
Благо дать — и умереть.
Человек — боль и беда.
Только — быть, и не уметь

умереть. Быть — целовать,
целый век — просто пропеть.
Целый век быть — благо дать,
целовать и не успеть

умереть. В нашем саду
лишь пчела с птицей поют,
лишь цветы, лишь на свету
паучки что-то плетут

да летят искры стрекоз,
ласки сна, тайны тоски.
В золотых зарослях роз
лепестки да лепестки.

Ты потрогай — рвется струна,
Аполлон требует стрел.
Этот знак «сердце-стрела»
устарел, брат, устарел.

Не струна, а тетива, —
или их, или себя!
Этот сад весь в деревьях,
огнь и меч их истребят.

Г а м л е т

Про деянья или про дух,
про страданья или про страх.
Вот и вся сказка про двух —
жили-были брат и сестра.

В той стране, в той голубой
(журавли не долетят!),
там была только любовь,
у любви — только дитя.

До зари звезды дрожат.
Вся цена жизни — конец.
Ты послушай: дышит душа —
бьется, бьется в теле птенец.

Их любовь слишком светла.
Им Гефест меч не ковал.
Жили-были брат и сестра,
и никто их не карал.

Ничего нет у меня —
ни иллюзий и ни корон,
ни кола и ни коня,
лишь одна родина — кровь.

· Песня Офелии

Столетье спустя, в январе
был маленький храм.
Святители на серебре,
нехитрый хорал.

Свеча и алтарь. В тайнике
там ангел стоял.
И лира на левой руке,
и благословлял.

О волосы бел ковыли!
Молитвы слагал
про тех, кто повел корабли
в снега и снега.

Как радостно было у нас,
когда над свечой,
как маленькая луна,
блестел светлячок.

Столетье спустя и еще
с востока пришли
какие-то люди с мечом
и люди с плетью.

Они обобрали наш храм,
алтарь унесли.
И юношей (вот и хорал!)
на торг увели.

Совсем отгорела свеча,
лишь сторож-фантом
ходил, колотушкой стучал,
да помер потом.

Гомер

1

На небеса взошла Луна.
Она была освещена.

А где-то, страстен, храбр и юн,
к Луне летел какой-то Лун.

Не освещенный, не блистал.
Он лишь летал по небесам.

Сойдутся ли: небес канон
она и невидимка — он?

2

Там кто-то ласточкой мелькнул.
Там кто-то молнией мигнул.

Кузнечик плачет (все во сне!),
и воеет ворон в вышине.

Чей голос? Голосит звезда
или кукушка без гнезда?

Овчарня — овцам. Совам — сук.
Когтям — тайник. Копытам — стук.

*

Ах, вол и волк! Свободе — плен.
Льду — лед. А тлену — тлен и тлен.

И по слезам в последний час
как семь потов — в семь смертных чаш!

з

И вот — кристаллики комет. . .

Кому повем, кому повем
и зло и звон моих поэм?

Иду под пылью и дождем,
как все — с сумою и клюкой,
ничто не жжет, никто не ждет,
я лишь ничей и никакой.

Нет, я легенд не собирал,
я невидимка, а не сфинкс,
я ничего не сочинял,
Эллада, спи, Эллада, спи.

Спи, родина, и спи, страна,
все эти битвы бытия,
сама собой сочинена,
ты сочинила, а не я.

Что на коне, что на осле,
мне все едино — мир и миг,
и что я слеп или не слеп,
и что я миф или не миф.

Исповедь Дедала

В конце концов признанья — тоже поза.
Придет Овидий и в «Метаморфозах»
прославит имя тусклое мое.
Я — лишь Дедал, достойный лишь Аида,
я лишь родоначальник дедалидов,
ваятелей Афин и всех времен.

В каком-то мире, эллинов ли, мифов,
какой-то царь — и Минос, и не Минос,
какой-то остров — Крит или не Крит.
Овидий — что! — Румыния, романтик,
я вовсе не ваятель, — математик.
Я Миносу построил лабиринт.

Всё — после: критских лавров ароматы,
Тезей и паутинка Ариадны,
Тезея-Диониса маета,
Плутарха историческая лира
о быко-человеке Лабиринта,
чудовище по кличке Минотавр.

Всё — после. Миф имеет ипостаси.
Я не художник. Я — изобретатель.
Лишь инструменты я изобретал:
топор, бурав и прочие,
а кроме —
пришел на скалы, где стоял Акрополь
и где — я знал! — стоял художник Тал.

Там он стоял. В сторонке и отдельно
в темнеющей от вечера одежде,
ладони рук, приветствуя, сомкнул.
Я поприветствовал и, обнимая
и постепенно руки отнимая,
отпрянул я! И со скалы столкнулся.

Сын брата моего и мой племянник,
для девушек— химера и приманка,
для юношей — хулигатель и кумир,
мечтатель мальчик с мышцами атлета,
вождь вакханалий с мыслями аскета,
которого учил я и кормил,

которого ни слава не манила,
ни доблести. И не было мерила
в его судьбе— сама собой судьба.
Животное и труженик. Неверно —
«раб творчества» или «избранник неба»,
всё проще — труд избранника-раба.

Как я убил? Известно как. Извольте:
на скалах водоросли и известка,
он поскользнулся и упал, увы!
Кто и когда вот так не оступался? . .
Я счастлив был. Но как я ошибался!
Я не его — я сам себя убил.

Они меня ни в чем не обвиняли,
и добросовестные изваянья
мои — кирками! под ступени плит!
Был суд. И казнь. Я клялся или плакал.
Был справедлив статут ареопага.
Я струсил смерти. Я сбежал на Крит.

И как волна эгейская играла!
Всё после — Минос, крылья, смерть Икара. . .
Не помню или помню кое-как.
Но идолопоклонники Эллады
про Тала позабыли, а крылатость
мою
 провозгласили на века.

Смешные! Дети-люди! Стоит запись
в истории оставить всем на зависть,
толпа в священном трепете — талант!
И вот уже и коридоры Крита,
и вот мои мифические крылья,
«да несудим убийца: он — крылат!».

Орфеев арфы и свирелей ноты,
орлы небес и комары болота, —
хохочет Хронос — судороги скул!
Кому оставить жизнь — какой-то розе
или фигуре Фидия из бронзы?
Не дрогнув сердцем, говорю: цветку.

Он, роза, жив. Отцвел и умирает.
А Фидий — форма времени, он — мрамор,
он — только имя, тлен — его талант.
Ни искупленья нет ему, ни чувства,
а то, что называется «искусство»,
в конце концов — лишь мертвые тела.

Кто архитектор, автор Пирамиды?
Где гении чудес Семирамиды?
О, Вавилонской башни блеск и крах!
Где библии бесчисленных отечеств?

Переселенье душ библиотеки
Александрийской?

Всё, простите, прах.

Искусство плавят боги, а не бесы,
художник — только искорка из бездны,
огни судьбы — агонии огни.

Остановись над пропастью печали,
не оглянись — тебя предупреждали, —
о прорицатель, о, не оглянись.

Не оглянись, художник. Эвридика
блеснет летучей мышью-невидимкой,
и снова — тьма. Ни славы, ни суда.
Ни имени. И все твои творенья
испепелит опять столпотворенье.
Творец — самоубийца навсегда.

Всё, что вдохнуло раз, — творенье Геи.
Я — лишь Дедал. И никакой не гений.
И никакого нимба надо мной.
Я только древний раб труда и скорби.
Искусство — икс, не найденный, искомый,
И никому бессмертья не дано.

Октябрь

Октябрь.

Ох, табор!

Трамваи скрипучи —

кибитки, кибитки!

Прохожие цугом —

цыгане, цыгане!

На черном асфальте —

на черной копирке

железные лужи лежат в целлофане.

Октябрь!

Отары

кустарников —

каждый сучочек отмечен.

Стригут неприкаянных, наголо бреют.

Они — по-овечьи,

они — по-овечьи

подергивают животами и блеют.

Вот листьям дадут еще отпуск на месяц:

витайте!

Цветите!

Потом протоколы

составит зима.

И все будет на месте:

достойно бело,

одинаково голо.

* * *

Комнату нашу оклеили.
И потолок побелили.
Зелень обойных растений.
Обойные это былинки.
Люстра сторукая
в нашей модернизированной келье.
Так охраняли Тартар
сторукие гекатонхейры.
Мы приручили сову.
К мышлению приручили.
Качественны мысли у птички.
Много их — не перечислить.
Правильны мысли у птички.
Правильны — до зевоты.
Наша семья моногамна.
Сосуществует сова
третьим домашним животным.
Что ты, жена? Штопаешь
или носки шерстяные куешь,
приподнимая иглу,
как крестonosец копье?
Скоро дожди. Пошевелият мехами.
На зиму в берлоги осядут.
Скоро зима. Окна оклеим.
Выдюжим трое осаду.
Так обсуждаем мы неторопливо
неторопливые планы. . .

Белое, влажное небо над нами пылало!

Летний сад

Зима приготовилась к старту.
Земля приготовилась к стуже.
И круг посетителей статуй
все уже,
и уже,
и уже.

Слоняюсь — последний из крупных
слонов —
лицезрителей статуй.

А статуи ходят по саду
по кругу,
по кругу,
по кругу.

За ними хожу, как умею.
И чувствую вдруг —
каменею.

Еще разгрызаю окурки,
но рот костенеет кощеем,
картавит едва:
— Эй, фигуры!

А ну, прекращайте хождение
немедленным образом!
Мне ли
не знать вашу каменность, косность.

И все-таки я — каменею.
А статуи —
ходят и ходят.

Первый снег

Первый снег.

Пересмех

перевертышей-снежинок
над лепными урнами.
И снижение снежинок
до земного уровня.

Первый снег.

Пар от рек.

В воду — белые занозы.
Как заносит велотрек,
первый снег заносит.

С первым снегом!

С первым следом!

Здания под слоем снега

запылают камельками.

Здания задразнит небо:

— Эх вы, камни, камни, камни!

А по каменным палатам

ходят белые цыплята,

прыгают —

превыше крыш!

Кыш!

Кыш!

Кыш!

Дворник

Быть грозе!
И птицы с крыш!
Как перед грозою стриж,
над карнизом низко-низко
дворник наклонился.

Еле-еле гром искрит,
будто перегружен.
Черный дворник!
Черный стриж!
Фартук белогрудый.

Заметай следы дневных
мусорных разбоев.
Молчаливый мой двойник
по ночной работе.

Мы привычные молчать.
Мамонтам подобны,
утруждаясь по ночам
под началом дома.
Заметай! Тебе не стать,
раз и два и сто раз!

Ты мой сторож!
Эй, не спать!
Я твой, дворник,
сторож.

Заметай! На все катушки!
Кто устойчив перед?
Мы стучим, как в колотушки,
в черенки лопат и перьев!

— Спите, жители города.
Все спокойно в спящем Ленинграде.
Все спокойно.

Трамваи

Мимо такси —
 на конус фары!
Мимо витрин и мимо фабрик —
гастрономических богинь,
трамваи — красные быки,
бредут —
 стада,
 стада,
 стада.
Крупнорогатый скоп скота.

В ангары! В стойла!
 В тесноте,
чтоб в смазочных маслах потеть,
чтоб каждый грамм копыт крещен
кубичным, гаечным ключом!
Тоску ночную не вмещать —
мычать!

Вожатый важен, как большой:
вращает рулевой вожжой!
Титан —
 трамваи объезжать!

Я ночью не сажусь в трамвай.
Не нужно транспорт обижать.
Хоть ночью —
 обожать трамвай.

У них, быков
 (как убежать
в луга?),
 сумели всё отнять.
Не нужно транспорт обижать.
Пусть отдохнет хоть от меня.

Полночь

А тени возле зданий,
тени —
прочерченные криво
границы.

Взгляни туда-сюда:
антенны —
завинченные в крыши
грабли.

Сырая колобаха
ветер!
А дворников берет
зевота.
Как плети Карабаса
ветви.
И всё наоборот
сегодня.

Луна,
а на граните
сухо.
Волна — невпроворот! —
лучится.
Бывает: на границе
суток
все ждешь: наоборот
случится.

Вороны, как барбосы,
лают,
и каркают собаки
грозно.

Ты ничего не бойся,
лада.
Все это — байки.
Просто — проза
моих сомнений.
Соль на марле!
К утру мои просохнут
весла.

И утром будет все
нормально,
как все, что утром,
все,
что звездно!

Кузнечик

Ночь над гаванью стеклянной,
над водой горизонтальной. . .
Ночь на мачты возлагает
купола созвездий.

Что же ты не спишь, кузнечик?
Металлической ладошкой
по цветам стучишь, по злакам,
по прибрежным якорям.

Ночью мухи спят и маги,
спят стрекозы и оркестры,
палачи и чиполлино,
спят врачи и червяки.

Только ты стучишь, кузнечик,
металлической ладошкой
по бутонам, по колосьям,
по прибрежным якорям.

То ли воздух воздвигаешь?
Маяки персключаешь?
Лечишь ночь над человеком?
Ремонтируешь моря?

Ты не спи, не спи, кузнечик!
Металлической ладошкой
по пыли стучи, по зернам,
по прибрежным якорям!

Ты звени, звени, кузнечик!
Это же необходимо,
чтобы хоть один кузнечик
все-таки —
 звенел!

* * *

Кристалл любви, кристалл надежды,
медаль ста солнц, метель ста выюг!
Не удален и не удержан,
сам удалился и стою.

Стою над пропастью. Два грифа
летают. Море — в небесах.
О волны, кружевная гибель! —
вас не воспеть, не написать.

Кристалл любви, кристалл забвенья,
молитва колокольных лбов!
Над пропастью луна забрезжит,
клубится солнце, как любовь.

Стою с бокалом. И не брошусь.
Стою вне Вас, бокал — за Вас!
Я пью вино — златую бронзу, —
и счастлив мой глагол и глас!

Пой песню! В этом песнопенье
лишь голос горечи без нот.
Над нами тучи переспели,
дождь оживительный блеснет!

Стою. Блеснет да в пропасть канет
и сердца страх, и тишь в крови. . .
Кристалл времен, кристалл дыханья,
твердыня жизни и любви!



Отъезд со взморья

Плакать не надо, Вы, — будем как чайки Египта...

Мысли мои несмышлелыши — мне вас не додумать.

Надежды мои необитаемые — ни в небе.

Спите, о, спите, свирели, как звери, — эхо ваше
замерзло.

Женщина, Вы — о любовь детского Дон-Жуана!..

Чайки, все чайки. И море в мокрой сутане.

Солнце соленое ползает, щеки щекочет,
или это кровинки моря мои?

Туман. Знак знакомый луны в океане.

Теплая тень сосны на песке последней в пустыне.

Плакать не надо, Вы, — это лицо мое на дне бокала
в той кровинке вина морской, скоморошьей.

Туман — бег белый коня в копытах.

Минет и третий звонок... Где же четвертый?

Плакать не надо, женщина, Вы, мы оба — только
объятья...

* * *

Солнце знает свой запад.
Луна знает свои приливы.
Муравей знает свое завтра.
Цапля знает своих цыплят.

Все знают: солнце — небесное тело,
луна — карманное зеркальце солнца,
муравей — карликовое животное,
у цапли — одна, ей свойственная нога.

* * *

Все прошло. Так тихо на душе:
ни цветка, ни даже ветерка,
нет ни глаз моих, и нет ушей,
сердце — твердым знаком вертикаль.

Потому причастья не прошу,
хлеба-соли. Оттанцован бал.
Этот эпос наш не я пишу.
Не шипит мой пенистый бокал.

Хлебом вскормлен, солнцем осолен
майский мир. И самолетных стай
улетанье с гулом. . . о, старо!
и ни просьб, ни правды, и — прощай.

Сами судьбы — страшные суды,
мы — две чайки в мареве морей.
Буду буква и знак звезды
небосклона памяти твоей.

* * *

Я вас любил. Любовь еще — быть может.
Но ей не быть.
Лишь конский топ на эхо нас помножит
да волчья сыть.

Ты кинь коня и волка приласкаешь...
Но ты — не та.
Плывет твой конь к тебе под парусами,
там — пустота.

Взовьется в звон мой волк — с клыками мячик
к тебе, но ты
уходишь в дебри девочек и мачех
моей мечты.

Труднее жить, моя, бороться проще,
я не борюсь.
Ударит колокол грозы, пророчеств, —
я не боюсь.

ни смерти, ни твоей бессмертной славы, —
звезду возжечь!
хоть коне-волк у смертицы-заставы,
хоть — в ад возлечь!

Проклятий — нет, и нежность — не поможет,
я кровь ковал!
Я — вас любил. Любовь — еще быть может...
не вас, не к вам.

Слеза в лесу

Птенец упал, а он бескрыл. Грустит гнездо.
Но он оправился, пошел и клювом заклевал.
И червь земли к нему пополз. Комар его кормил.
Созреют косточки твои, птенец. Взойдешь
в надмирный воздух, как душа пера.
Все в завтра: бой-любовь и кровь-хлеба,
снега и солнца, — то есть жизнь. . .
Конец июня. Конница стоит
кузнечиков. Бел земляничный плод.
Во тьме земли уже грядут грибы.
Листву листают пальцем дерева.
Светла роса, как лунная. Во мхах
лягушки лают немо паукам. . .
А муха? Вот летит, шумит, как шар.
Куда она? То темнем в зенит,
то прячется пружинкой, где темней.
Что думает она? Что — без гнезда?
Что век — одна? Что — только стоя спит?
И я не знаю. Тише, твари, вы,
Земли и Неба. . . кто-то там идет. . .
Еще я видел, как по лесу шла слеза.
Кто выплакал ее? Кто в лес впустил?
Как женщина, она обнажена и босиком. Она
светилась, как глаза. Но испарялось все ее лицо.
А тело извивалось в ужасе, что — смерть.
Ее-то кто-то выплакал, а сй
заплакать — как? Ведь нету у нее второй
слезы, чтоб на тропинку обронить! . .

Пока я шел, она уже пропала. Я
пошел по лесу вверх, чуть-чуть качая головой:
зачем под солнцем шла она? ведь солнце — яд.

Вечер в лесу

В муравейнике труд муравьиных семей.
Сон летает за эхом.
Кто? кукушка живет или сам соловей
в хитром храмике этом?

О каком композиторе-чудаке
плачет флейта-комарик?
«Мяу» кошки на чьем-то ничьем чердаке,
и не снятся кошмары.

Только с некоторых мне мерещатся пор
журавлиные гусли,
как хорош этот не человеческий хор
этих грешников грусти.

Наши быстрые буквицы — мир неживой:
сколько лавров и терний!
Ничего не осталось у нас, ничего —
и ни тем, и ни тени.

Наши буквицы — бой петушиных корон,
ни сомнений, ни солнца.
Лишь летучие мыши мигают крылом.
Да свинцовые совы.

Так случается: лопнул огромный орех —
лишь скорлупка-пустышка.
Кто-то в мае аукнул, а лишь в январе
кто-то отклик услышал.

В озерах у озер камышинки-камыш.
И с гримасами мимов
смотрят рыбы. . . А ты, паучонок, кружишь
в нашем шарике мыльном.

Солнце село. И цвет у небес нефтяной.
Что бормочет береза? . .
Затаился. Не страшно тебе? Ничего, —
вот и сердце не бьется. . .

Бессмертье в тумане

Радужные в тумане мыльные пузыри — фонари.

Спичку зажжешь к сигарете — всюду вода, лишь
язычок в трех пальцах — звезда.

Тикают по циферблатам цикады... пусть их, их цель...
Пульс и капель!

В небе — нет неба. Август арктический, или
оптический очи-обман?.. Ночь и туман.

Хор или ноль?.. Ходит как нож с лезвием чей-то
ничей человек. Целый век.

Ходит, складной (с кляпом? каникулы?), и никак
самого себя не сложить.

(Как в слезах! Как в глазах!) Стало жить
невмоготу...

Но наготу ни лезвия не боится, и что ему чьи-то
«нельзя», но не готов ноготок.

Как научился (на «у» или «числа»?) так не уметь —
не умереть?

Или надеется, знает (незнаемый!) все про любовь...
и кровь?.. И... — вновь?

Или бессмертье — больше близ смерти?..
...Голос мой! Логос мой!

Песнь лунная

Зажглись фонари на холмах... Я вышел на воздух,
а воздух — вишневы.

Семнадцатое августа, ноль часов, семь минут, семь секунд... Жду гостей. С неба. А их нет. (Хутор, со шпилем, оконце и лампа — ориентир.)

Луна человечьим лучом (маскировка, мираж) расставила
металлические мечи по холмам.

Фосфоресцируют волосы в воздухе. Чаша весов в левой
деснице (время: время!). Не расплескать бы тост!

Нет одиночества: я и Луна. Я меньше сейчас, чем один.
А на Луне (знаем Землю!) их — нет.

О, облака, два дракона метафор! (Я сам — семикрыл!)

Деревья таятся когтями, — но не орлы; цветы завернулись
в чалмы, — ни цветок не пророк; кузнечики в травах
трепещут, — цепь-звон, но они не часы. И лишь две собаки:
одна там, где Запад, другая там, где Восток, одна
восклицает: «Ах, ах, ах!», другая: «Ай, ай, ай!»

Значит, Луна боится меня.

Не бойся. Я не божество, не беглец без лица... Ночью (не нищенка,— Мнишек Мариной, княжной Таракановой, Анной Второй, императрицей в темнице (не самозванка!) — боится меня!

Зажглись фонари... Я ошибся: зажегся фонарь на холме — моем.

Слышу звон звезд — это армий моих океан, это Большая Медведица встала, как вождь на живье жабье, безжалостный серп размахнула во все небеса! Гости — не гости, сейчас — не сейчас,— серп занесен!

Как мне с глаголами? Как мне с глазами? Как мне — со мной? .. Бьется еще на пульсе братский браслет! Жду, как Джордано. Простится и пульс и дрожь: ночью вничью все боится и бьется (не днем!)... Не бойся! Ты — это Ты (без междометий!), я-то значок язычка!.. Ежик! Я жив ли? Жужжим ли? Не съешь светлячка!

...Камни лежат на тропинках, как яйца живые в своей скорлупе!

Босые листья

Мой дом стоял, как пять столбов,
на холме с зеркалами.
Топилась печь, холод хорош, а стекла-ртуть
зачем-то запотевали.

Как говорится, грусть моя не светла,
направо дверь-дурь белела.
Да в жилах кровь, как мыльный конь,
к пункту Б бежала.

«Конь-кровь», — я думал, — какие в сущности
рифмы смысла?
«Грусть в горсть», — как в воду из водопада! —
иссякла сила.

Сад, как и после, опять опал. Но листья
почему-то не улетали.
Ходили вокруг дома, как воры-расстриги,
как будто с холма холм увидали.

Босиком, как скитальцы, они стояли
на крыльце из цемента.
Комары-мухи их не кусали: обуви
на них нету.

Я не гостеприимец. . . Взошла, как водится, луна:
как в крестьянской балладе — свекла.
Да дверь раскрылась, как от крыльев! . .
Свистали стекла!

Двое

Картофель цвел. На огурцах
значки. Снегурочка — овца.
У мух — толпа и масса.
Темнело. Меч или весло?
Ромашка или василек?
Трава — в чернилах масла.

На озере вода видна
волшебная. Над ней луна
с узорами. Темнело.
Купались двое нагишом,
но было им нехорошо,
и кашляли. . . Телега

шла с лошадьё, — там был закат.
Малинник в молодых звонках. . .
И нет как нет заката.
Те двое — мускулы, загар —
листали озеро взхват,
сливались, — вот загадка.

Над ними ныла мышь-вампир.
А ворон в воздухе вопил
и выл о чьей-то смерти.
Я пил вечерний свой сосуд. . .
Спасти от смерти — все спасут,
от жизни — кто сумеет?

Дрожал, как дождик на весу,
хор комаров. Не обнесут

водой волшебной хутор.
И капать мне день ото дня
пусть каплей, но одной. Двумя
и слившимися — хуже.

Нажрался жертвами паук.
Те двое отряхнули пух,
он с нею расставался.
Да дятла детективный стук,
да винных вишен красный звук
над розой раздавался.

И сколько тел и столько лет
шумели мухи на стекле
и лампочки ковали.
Над буквами моей орды
летали комары-орлы
и клювами клевали!

* * *

Не гаси, не гаси наш треног:
мотылькам не помочь у огня.

За окном туман-море тревог:
не гости, не гости у окна.

Ни в горсти молока не принес,
ни иголки до завтрава дня.

К потолку наш треножник примерз:
эта лампа не греет меня.

О, не греет, а грозно горит!
Ни грустильниц, ни дна, ни вина...

Даже голосом не говорит
эта комнатная не луна!

Утро

Думаешь, день занимался с зарей? Думай, думай!
Из Каракум прилетел комар и кулаком хватил
в окошко.

Встал я из-под одеял и кулаком комара по морде
убил.

Как он упал! Как он лежал! —
в брюхе бурлила кровь, лапы лохматы, и с клювом,
как аист,
с чьей-то мечтой ледяной на челе, — как мертвец!
Да, смерть не шуточки утречком, это тебе не жизнь!
Лишь после этого ночь утратила сон и день —
занимался.

В воздухе, как в океане окна, петляли пять
самолетов,
с телом, как Суламифь, — один, и ревели — четыре.
Солнце повисло вниз головой, как мак неслепящий.
Пахло жасмином или навозом, — так, запах как запах.
Шумели листы ботвы картофеля, а понемножку
между кустами шли — кто куда — две старухи.
Первая — волосы-пар, в кофточке вязи, с косой
из железа, — как смерть.

Бок о бок с ней вторая: в юбке, как зонтик,
вела на цепи овец розоворунных
(клевер, щавель, колокольчики, лютики, травки!).
«Мама! — вопили овцы. — Мама!» А пели:
пой-петушок-гребешок, семь соловьев и комарик
(не тот, не мертвец!).
Видишь Восход: там стоял камень-валун, белый,
как с хоботом слон.

Там по шоссе веселились велосипеды,
вместо колес — монеты серебряными рублями.

А под окошком моим у колодца-болотца стояло
моих два уха,
два часовых в красных касках и с автоматами:

«Слушай, о, слушай!» —
ибо писал я письмо Тебе, и мешала машинка.

А вон за тем облаком в белом — там
спрятались в каплях моих два глаза,
в чудо-бинокли глядя в Москву — в Твои глаза,
ибо писал я письмо Тебе, только для двух пар глаз —

наших.
А над машинкой (мешала машинка!) уста мои были —
немость,

чтоб не раскрыться не вовремя, чтоб не лгать.

Лишь торопились пальцы мои, но пальцы лишь
буквицы выбивали,
не было в буквах ушей моих, глаз моих, губ,
пальцев моих пульсирующих (о, мешала

машинка!), —
черная путаница алфавита на белом. . .

Ибо писал я письмо Тебе, а оно — лишь письмо,
любое.

Письма тебе

(Вариации)

1

Лист желтый на небе не желтом,
но и не синем.

Иголки с блеском у елей, а паутина —
как пена.

Воздух воздушен, и где-то там плачут
пчелы.

Вот ветерок и листья еще
пролетели

(помни полет стрекозы и ее кружевца-
крылья).

Солнце все засекает солнечным
цветом.

Вот я уйду во время луны
в небо.

Запах звериный, но из зверей
лишь я
не вою.

В этом лесу я как с тобой, но ты —
где ты?

Хоть бы оставила боль, но и боль —
былая.

И, запрокидывая лицо свое
к небу,

я говорю: ничего без тебя
мне нету.

2

Зелень цветная, блеск бледнокожих,
лебедь Египта,

мед молока — теплое тело,
нежные ноги,

челка на лбу — иннок и конь! —
волосы власти!

кисти твои не расплести —
так расплескались,

губы твои не целовать —
замкнуты знаком,

не обнимать хладных колен —
окольцевали,

и на спине спящей твоей
нет мне ладони.

Спи, человек мой голубой,
девочка дочки,

в майской Москве, в доме для нас
нет ни паркетки,

спи, ибо ты ночью ничья,
даже в объятьях.

Я по лесам, по чудесам
с кепкой скитаюсь,

снова смеюсь и сам про себя
песенку вою:

«Но
он
сел
в
лес
и
пил
лип
сок...»

Стал я так тих и не влюблен,
в буквы играю,

птица ль заплачет — я замолчу, —
зверь ли завоет.

Я не приду, я не приснюсь
вовсе ни разу,

но и тебе (клятва!) живой
боль не позволю.

Я говорю: ничего без тебя
мне нету.
Я говорю, а ты не услышь
мой шепот,
может, последний в светлом лесу
воплъ волчий,
все-таки мало, милая, нам
ласк леса.

Волк запрятался в лист, во тьму, —
знак смерти.
Рыбы режут немо. В водах
всхлип, всплески.
Жаворонок задохнулся и не
спас сердце.
Храбрая будь, хороший мой пес,
мой? чей ли?

Заперли в дом, двери на цепь, —
лай, что ли?!
В окна бинокль, а телефон —
хор Хама.
Все на коленях — в клятвах, в слезах!
О, овны!
Ты им не верь, ведь все равно
цель — цепью!

Ты так тиха. Шею твою —
в ошейник!
Лишь в полуснах-кошмарах твоих
бред бунта.
Будь же для всех бледной бедой,

бей болью,
грешная будь, нелающий мой,
мой майский!

Я ли не мудр: знаю язык:
карк врана,
я ли не храбр: перебегу
ход рака...
Все я солгал. В этом лесу
пусть плохо,
но не узнай, и вспоминать
не надо.

4

Вот я уйду во время луны
в небе.
Наших ночей нет. И ничто —
время.
Наша любовь — холод и хлеб
страсти
в жизни без жертв, — как поцелуй
детства.

Вот муравей — храбрый малыш
мира,
вишенкой он бегаёт по
веку.
Что для него волк-великан-
демон,
росы в крови, музыка трав
Трои?

В небе ни зги нет. Деревя
тени

порастеряли, или и их—
в тюрьмы?
В нашей тюрьме только зегзиц
числа,
«стой, кто идет? — выстрел и вопль! —
ты ли?»

Только — не ты! Я умолю
утро,
голову глаз выдам своих
небу,
я для себя сам отыщу
очи. . .
Не умирай в тюрьмах моих
сердца!

5

Спи, ибо ты ночью ничья,
даже в объятьях.

Пусть на спине спящей твоей
нет мне ладони.

Но я приспуюсь только тебе,
даже отсюда.

Но я проснусь рядом с тобой
завтра и утром.

Небо сейчас лишь для двоих
в знаках заката.

Ели в мехах, овцы поют,
красноволосы.

Хутор мой храбр, в паучьих цепях,
худ он и болен.

Мой, но не мой. Вся моя жизнь —
чей-то там хутор.

В венах вино. А голова —
волосы в совах.

Ты так тиха, — вешайся, вой! —
вот я и вою.

Хутора, небо, хранитель от правд, —
правда — предательств!

Правда — проклятье! С бредом берез
я просыпаюсь.

Возговори, заря для зверья, —
толпища буквиц!

Небо, отдай моленье мое
Женщине, ей же! —

тело твое — топленая тьма,
в клиньях колени,

кисти твои втрое мертвы,
пятиконечны,

голос столиц твоего языка —
красен и в язвах,

я исцелил мир, но тебе
нет ни знаменья.

Жено, отыдь ты от меня, —
не исцеляю!

Этот эпилог

Слушай! я говорю — горе! — себя кляня,
в тридцать седьмой год от рожденья меня

благодарю вас, что и в любви — была.
Смейся! мой смертный час — не берегла.

О, пустяк! предоставь мне самому мой крах.
Я, прости, перестал в этой любви в веках.

Мантию не менял. Пусть постоянен трон:
эта любовь — моя, и не твоя, не тронь.

Минет моление утр. Вы подарили раз
много-много минут. Благодарю вас.

Млечных морей слеза не просочится в миф.
Благодарю за — ваш, любимая, мир:

ваш — соломенный клад, плавающий на плаву,
ваш — без звезд и без клятв, ваш — лишь наяву,

ваш — вечный вертел, поровну — твердь и сушь,
ваша телесность тел, одушевленность душ.

Кто я? — паяц, бурлак, воин, монах, король? —
что вам! а боль — была. Благодарю боль.

На море вензеля. Песок утопан, как воск.
Ваш, египтянка, взгляд, взлет ваших волос,

лунная леность лиц, ваших волос сирень,
рой ваших ресниц или сердца секрет. . .

Над взморьем звезда Пса. О спите, судьбу моля,
чтоб в тридцать седьмой год — от рожденья
меня —

не опустить так — голову ниже плеч.
Боже — моя мечта! — но и мечта — меч.

Как золота земля, ходит в воде волна,
биться былинкой зла, шляться в венце вина,

волком звезде завывать, смерть свою торопя,
плакать, тебя забыть и — не любить тебя!

* * *

Я тебя отворюю у всех семей, у всех невест.
Аполлону — коровы, мясá, а я — Гермес.

Аполлону — тирсы и стрелы, а я — сатир,
он — светящийся в солнце, а я — светлячком
светил.

Я тебя (о, двое нас, что до них — остальных!).
Я тебя отвоюю во всех восстаньях своих.

Я тобой отворюю все уста моей молвы.
Я тебя отреву на всех площадях Москвы.

Он творил руками тебя, а я — рукокрыл.
Он трудился миллионы раз, а я в семь дней
сотворил.

Он — стражник жизни с серебряным топором.
Он — жизнь сама, а я — бессмертье твое.

Я тебя от рая (убежища нет!) уберегу.
Я тебя отправлю в века и убогу.

Я тебе ответил. В свидетели — весь свет.
Я тебе отверил. И нашего неба — нет.

Нет ни лун, ни злата, ни тиканья и ни мук.
Мне — молчать, как лунь, или мычать, как мул.

Эти буквицы боли — твои семена,
их расставляю и растравлю и — хватит с меня!

Муза моя — дочь Мидаса

Вот мы вдвоем с тобой, Муза,
мы — вдовы.
Вдовы наш хлеб, любовь, бытие, —
бьют склянки!
В дождик музы́ки, вин, пуль,
слов славы
мы босиком — вот! — Вам! —
бег к богу.

Музу мою спаси, Дионис,
дочь Мидаса,
ты отними у нас навек
звук арфы,
он обращает ноты надежд
в звук злата,
это богатство отдай богачам —
пусть пляшут!

Был на скатерти хлеб зерна, —
в золото мякиш!
Я целовал ее лицо, —
вот вам маска!
Жизнь зажигала звезды, — о нет! —
хлад металла!
Вы восклицали: богат, как бог!
Где благо?

Что мне фрукт Гесперид! Как прост
хлеб соли!

Грешницы где же? Тепло тел,
не статуй!
Дай не «аминь» во веки веков, —
пульс часа,
крови кровинку, воздуха вздох,
труд утра!

* * *

Обман ли, нет ли — музыка мала.
Мерзавки Музы! Я люблю любить.
Моя! Ты, знаю, знаешь, что моя
профессия (как все бывало!) быть

обманутым. Ах ты, пальба-гульба!
Что в прошлом у тебя — с моей совой!
Мой смех на мерзло-мертвенных губах
и голубых — так до смешного мой.

Так до смешного, так мне жаль ее
с реченьями «люблю» и «не судьба».
Вы, женщина, вы — жалкое жилье,
не любящее даже ни себя.

Сосцы целуя или же персты,
я только тело ваше воровал.
Сказать «прости»? Я говорю: «Прости».
Я говорю вам, но не верю вам.

И если я люблю или зову —
но не своею жизнью угостить.
Востока мудрость: «Ты люби змею,
но знай — она умеет укусить».

Ты — гостья всех, а я — ироник мук.
Надежды наши — нежность и союз!
Мы оба обманулись. Потому
так не до смеха. Потому — смеюсь.

* * *

Ты, близлежащий, женщина, ты враг
ближайший. Ты моя окаменелость.
Ау, мой милый! — всесторонних благ
и в «до свиданья» — веточку омелы!

За ласки тел, целуемых впотьмах,
за лапки лис, за журавлиный лепет,
за балаганы слез, бубновый крах,
иллюзии твои, притворный трепет, —

ау, мой мститель! Мастер мук, ау!
Все наши антарктиды и сахара —
ау! Листаю новую главу
и новым ядом — новые стаканы!

За ладан лжи, за олимпийский стикс,
за ватерлоо! за отмену хартий!
за молнии — в меня! О, отступись,
оставь меня, все — хорошо, и — хватит.

Зменный звон! — за землю всех невест
моих и не моих еще, — пью чашу,
цикуту слез! Я не боюсь небес,
их гнев — лишь ласка ненависти нашей.

Униженный и в ужасе с утра,
как скоморох на жердочке овец. . .
О, отступись, еще дрожит струна,
не дай и ей, последней, оборваться.

Ночь о тебе

Звезда моя, происхождением — Пса,
лакала млеко пастью из бутылки.
И лун в окошке — нуль. Я не писал.
Я пил стакан. И мысли не будили. . .

о вас. . . Я не венчал. Не развенчал.
Я вас любил. И разлюбить — что толку!
Не очарован был, и разочарований нет. Я выдумал вас. Только.

Творец Тебя, я пью стакан плодов
творенья! Ты — обман, я — брат обмана.
Долгов взаимных нет, и нет продолженных
ни «аллилуйя», ни «осанна»!

Я не писал. Те в прошлом — письма!
Целуй любые лбы, ходи, как ходишь.
Ты где-то есть, но где-то без меня
и где-то — нет тебя. Теперь — как хочешь.

Там на морях в огне вода валов.
(Тушил морями! Где двузначность наша?)
И в водах — человеческих голов
купанье поплавковое. . . Не надо.

А здесь — упал комар в чернильницу, — полет
из Космоса — в мою простую урну.
Господь с тобой, гость поздний. Поклюем
в чернилах кровь и поклянемся утру.

После

Теперь от вас — воспоминанье,
вас — поминанье:

Графин и грусть. Головка лампы.
Лучей заката карусели.
Луной без солнца пахнет ландыш.
Клюют лягушку коростели.

С дрожащей шпагой Дон-Жуана
факир пустынь, снег Эвереста,
ты — жизнь и факт, я — доживанье
себя, чье имя — бред и ересь.

Теперь от вас — воспоминанье,
вас — пониманье:

Лилит столиц, мишень орлана,
ты крылья крови не спросила,
ты — правды знак, я — знак обмана. . .
Уже ушла. . . На том спасибо.

За «нет тебя!» — золотая чаша!
Графин и грусть. В свечах бессонниц
листаю пальцем Книгу Часа. . .
А жизнь жует свой хлеб без соли.

Баллада

На рассвете, когда просветляется тьма
и снежинками сна золотится туман,
спят цыплята, овцы и люди,
приблизительно в пять васильки расцвели,
из листвы, по тропинке, за травами, шли
красная лошадь и белый пудель.

Это было: петух почему-то молчал,
аист клювом, как маятником, качал,
чуть шумели сады-огороды.
У стрекоз и кузнечиков — вопли, война.
Возносился из воздуха запах вина,
как варенья из черной смороды.

Приблизительно в пять и минут через пять
те, кто спал, перестал почему-либо спать,
у колодцев с ведрами люди.
На копытах коровы. Уже развели
разговор поросята. И все-таки шли
красная лошадь и белый пудель.

И откуда взялись? И вдвоем почему?
Пусть бы шли, как все лошади, по одному.
Ну а пудель откуда?
Это было так странно — ни се и ни то,
то, что шли и что их не увидел никто, —
это, может быть, чудо из чуда.



На фруктовых деревьях дышали дрозды,
на овсе опадала роса, как дожди,
сенокосили косами люди.
Самолет — сам летел. Шмель — крылом шевелил.
Козлоногое — бляяло. . . Шли и ушли
красная лошадь и белый пудель.

День прошел, как все дни в истечении дней,
не короче моих и чужих не длинней.
Много солнца и много неба.
Зазвучал колокольчик: вернулся пастух.
«Кукареку» — прокаркал прекрасный петух.
Ох и овцы у нас! — просят хлеба.

И опять золотилась закатная тьма,
и чайниками сна растворялся туман,
и варили варево люди.
В очагах возгорались из искры огни.
Было грустно и мне: я-то знал, кто они —
красная лошадь и белый пудель.

Хутор у озера

Чьи чертежи на столе?
Крестики мух на стекле.
Влажно.
О, океан молока
лунного! Ели в мехах.
Ландыш

пахнет бенгальским огнем.
Озеро — аэродром
уток.
С удочкой в лодке один
чей человеческий сын
удит?

Лисам и ежикам — лес,
гнезда у птицы небес,
нектар
в ульях у пчел в эту тьму,
лишь почему-то ему —
негде.

Некого оповестить,
чтобы его отпустить
с лодки.
Рыбы отводят глаза,
лишь поплавок как слеза
льется.

В доме у нас чудеса:
чокаются на часах
гири.
Что чудеса и часы,
что человеческий сын
в мире!

Мир не греховен, не свят.
Свиньи молочные спят —
сфинксы.
Тает в хлеву холодок,
телкам в тепле хорошо
спится.

Дремлет в бутылках вино.
Завтра взовьются войной
осы.
Капает в землю зерно
и прорастает земной
осью.

Урок рисования

И начертил я
их, лошадей,
белых четыре
на белом листе.

Хочешь не хочешь —
тебя сотворят.
Тйкай потихоньку,
а лошади стоят.

Ни в прошлом и ни в завтра
ни на волосок,
три мордами на запад,
одна на восток.

Обитают люди,
властвуют, свистят,
слезками льются, —
а лошади стоят.

Колесницы-войны,
конюшни-огни,
ипподромы-вопли
совсем не для них.

Страница бумаги —
копыта и степь!
Никто их не поймает,
не посадит на цепь.

Звоночек незабудки,
свистулька соловья,
миллионы — бьются!
А лошади стоят.

О, во всем мире
золота и зла
их, моих, четыре —
девичьи тела,

нежные ноздри. . .
Лошади стоят:
в черные ночи
белые друзья.

Никуда не деться,
не важно уже. . .
Белое детство
моих чертежей!

Читая Эдгара По

Так хорошо: был стол как стол.
Я не писал. Никто не шел.
Все лучше было, — горе!
Я думал: я и не молюсь.
Тогда-то в комнату мою
ворвался Белый Голубь.



Во мраке муха не взревет.
Звезда саму себя взорвет.
Лишь светлячок-электро-
сверчок! Скорее замечай:
окно открыто — залетай! . .
А залетел вот Этот!

Не с Арарата, не олив
питомец, не того, орлы
которого у Зевса,
не ангел-оборотень, не
который письма. . . Не в вине
на златоблюдце — в зелень.

Я знал Его. Мне красный глаз
в кошмарах грезился не раз,
в раскрыльях — волчий палец.
Он клюв в чернильницу макал,
гримасничая, мне мигал. . .
Я знал Его — Посланец.

Я знал Его. Валяй, ловец!
В конце концов вот и конец.
Ну, Бо-жа-я коровка!
Не запрокинусь — «Боже мой!»,
хирург души моей живой,
на темени — коронка.

Темнела тьма. И резеда
как пахла! Этот раздвигал
мне ребра клювом-клином.
Я лишь лежал. Немел мой мозг.
Я мог бы встать, но я не мог.
Он каркал, я — не крикнул.

И вот он сердце развязал
и душу взял, а я сказал:
«Что ж, милый, ваша вежа,
душа душой и не бог весть,
вы — птица белая Небес,
а я — сын человека.

Душа? Да что там, забирай,
отбегала моя заря
по листикам от сада. . .»
И. . . душу в лапах (Гамаюн!)
еще дрожащую мою
унес. А я остался.

Так ежедневный день настал.
Никто страницы не листал
мои. Я делал дело:
ушел ко всем, и в тесноте,
в толпе живородящих тел,
я тоже — только тело.

Хожу все луны и все дни
сам по себе и сам двойник
себе. С копытом овна,
с клыками волка. Блею вслед
себе и вою на скале:
один — во время оно!

Лилии ночью

Худо им,
лилиям,
хоть и не
холодно,
ходят — по горло — не ходят.
С белыми
лирами
в озере-
омуте
что-то свое хороводят.

Или же
лилии
лишь
забавляются
знаками звезд-невидимок.
Или под
ливнями
в листья
запрячутся, —
белые мышки на льдинках.

Худо им,
лилиям,
хоть и
красавицы,
а танцевать невозможно.
Рыбины
львиные —

шей
кусают им
и пауки-многоножки.

Ветер, — и в
плаванье!
Но их
кораблики
на якорях. Но нельзя им!
Солнце! —
но в
пламени
им не
карабкаться, —
в омуте цепью связали.

Ни
путешествия,
пешие
странствия,
ни поднебесье со льдами.
Лишь
утешение:
Лилия
Старшая
в небе и в волнах летает!
ЛУНА!

* * *

Бессолнечные полутени.
В последний раз последний лист
не улетает в понедельник.
Вечерний воздух студенист.

Мы незнакомы. Я не знаю,
ты творчество какой травы,
какие письменные знаки
и путешествия твои

какие нам сулили суммы?
Всё взвесили весовщики.
В лесу безвременье и сумрак,
а мы с тобой — временщики.

И пусть. И знаем всё: впустую
учить старательный статут,
что существа лишь существуют
и что растения растут,

что бедный бред — стихотворенья,
что месяц — маска сентября,
что деревянные деревья —
не статуи из серебра,

что, сколько сам ни балансируй
в бастилиях своих сомнений,
лес бессловесен и бессилен
и совершенно современен.

*

И ты, и ты, моя Латона,
протягиваешь в холода
также теплые ладони,
и им, как листьям, улетать. . .

* * *

Мой лес, в котором столько роз
и ветер вьется,
плывут кораблики стрекоз,
трепещут весла!

О, соловьиный перелив,
совиный хохот! . .
Лишь человечки в лес пришли —
мой лес обобран.

Какой капели пестрота,
ковыль-травинки,
мой лес — в поломанных перстах,
и ни тропинки.

Висели шишки на весу,
вы оборвали,
он сам отдался вам на суд —
вы обобрали.

Еще храбрится и хранит
мои мгновенья,
мои хрусталики хвои,
мой муравейник.

Вверху по пропасти плывут
кружочки-звезды.
И если позову «ау!» —
не отзовется.

Над кутерьмою тьма легла,
да и легла ли?
Не говори: любовь лгала,
мы сами лгали.

Лишь знает птица Гамаюн
мои печали.
— Уйти? — Иди, — я говорю.
— Простить? — Прощаю.

В лесу шумели комары,
о, камарилья! . .
Не говори, не говори,
не говори мне! . .

* * *

Все равно — по смеху, по слезам ли.
Все равно — сирена ли, синица. . .
Не проснуться завтра-послезавтра,
никому на свете не присниться.

* * *

Храни тебя Земля, мой человек,
мой целый век, ты тоже — он, один,
не опускай своих соленых век,
мой человеческий невольник-сын,

и сам с собою ночью наяву
ни воем и ничем не выдавай,
пусть сыну негде приклонить главу,
очнись и оглянись — на море май,

на море — мир! А миру не до мук
твоих и не до мужества — ничьих.
Сними с гвоздя свой колыбельный лук,
на тетиве струну свою начни!

И знай — опять воспрянет тетива,
стрела свершится, рассекая страх,
коленипреклоненная трава
восстанет, а у роз на деревьях
распустятся, как девичьи, глаза,
а небо — необъятно вновь и вновь,
а нежная распутица-гроза
опять любовью окровавит кровь!

И ласточка, душа твоих тенет,
взовьется, овеяв красный крест,
и ласково прошепчет в тишине:
— Он умер (сам сказал!), а вот — воскрес!

Новороссийская ночь

Мир умиротворился.

Ночь.

Огни, как зерна риса.

Ночь.

Над Новороссийском

ночь.

Черна невыразимо

ночь.

А море — гоноболь.

Стекло.

Прожектор — голубой

циклоп.

Пять рыбаков — пять бурок

в лодке.

А ну, раздвинет буря локти?

Пять рыбаков.

Пять бурок — стяг.

Кобенится мотор-кабан.

В прожекторе-луче блестят

пять лиц —

пять голубых

камбал.

В Гагре

Ты помнишь третье море тех времен,
то море не без нас и не без неба?
Виднелись волны. Небо лунатизма.
И мы. Но нас не двое, — вдвое дети
в толпах телес, на пляжах отплывших,
кто с полотенцем, кто в очках чернильных,
сандалии, сомбреро из соломы.
А горы в красных лилиях. Но не
закат. Безлунность. Бледность.
Не плакал — там. . .

Неправда. Нет. Не я.

Уже потом я плакал. (И потом
не плакал! Слезы лишь без слов
нмеют титул слез. А слово «слез»
уже не коронованной персоной
в стихах стоит, а так себе, короной
к рифмовке, скажем, «грез».)

Послушай, ты,

дитя второе, женское, ты, греза
тех трех море, тех трех времен Тебя, —
кто ты?

Ты — суть моей судьбы, святынь и танств?

Ты — только тело, что с двумя глазами?

Жива ли ты? А может, эта кожа —
лишь мой папирус, на который знаки
я наносил, выписывая влагой
все волосы твои, живот, колени?

И в ночь на третье море, третье время
тебя любил, а утром — испарилась?

И я один. В испарине стою.

Прости за прозаизм... Но...

Мы стоим

под пальмами (прости за поэтизм).

Павлин пленяет самку. Мерзкий мерк.

Чирикают цикады. Бледность.

Ты

мерещишься мне птицей у плетня

(сталь-санаторий, ну и сталь-плетень)

на двух ногах, а на лице — два глаза!

Не бойся. Час у бесов — не сейчас.

Я камень поднимаю, но не кину.

Лети в полет! Там в поднебесье — клекот.

Там — торжество! Там стая. Не отстань!

Там клювами уже клюют кого-то,

тварь живу или мертвечину — мясо!

Лети и ты, чтоб клюв — наперевес!

Лети ты, лепет трех морей и трех

времен! Ты в поднебесье — только точка

моих чернил... Передо мной папирус,

и утром знаки новые на нем,

не знаю, — зазвучат, не зазвучат,

но не твои, ты с теми, там.

А камень

я поднесу к лицу, и он тиктаком

ответит мне (и у него два глаза!),

и я отвечу. Положу потом

подальше.

Пусть сам лежит и сам тихонько дышит,

сам по себе...

Считалка прощанья

Может, наше третье море —
тридцать третье горе.

Но не стоит нам стараться
в тридевятой страсти.

Мир как мир, а мы как в мире
дважды два четыре.

Ничего над нами нету —
лишь седьмое небо!

* * *

В эту осень уста твои
я оставил на них, морях.
А их было по счету — три,
только три, не моя.

Поздравляю твои глаза.
Воздух весел, и кувырком
птиц надмирные голоса. . .
Ты как птица — листком!

Эту осень с устами лиц,
с голосами, с праздником глаз,
поздравляю с плодами птиц
или с листьями ласк!

В эту осень есть всякий плод,
лишь ромашек нет. Не гадай! . .
Третье море белым-бело,
как Великое Никогда.

* * *

Серебряный листик на красной стене,
о, август-летатель на красном огне!

О, воздух деревьев и дождь-водопой!
Деревьям не жаль расставаться с листвою.

Не жаль им сейчас и не жаль в сентябре,
пусть все золотые, один — в серебре.

И листьям не жаль, потому что удел.
Шумели все вместе, один — улетел.

Шел воздух, и дождик тела заливал.
И кто-то очнулся, и кто-то завял. . .

Я видел. Виденьем своим дорожил:
был красный этаж и листок серебра. . .

Для стихотворенья один не дожил
пол-августа и два-три дня сентября.

* * *.

Сожгли мосты и основали Рим.
Во всех столицах города-артиста
лигались флейты, поцелуи и
калигулы. . . Потом пришел Аттила.

Сожгли себя и основали рай.
Аукали, как девственники эха!
А розы! . . Музицировали стай
курлыканье! . . Потом явилась Ева.

* * *

Нет грез! Нас не минует ночь сия.
Все в яви! — ты одна и я один.
Так суждено. Ты явишься. И я —
лишь человеческий невольник-сын.

И — ночь! И белокаменная соль
белья, и лампы лед, и голод глаз,
и гибель губ, и хладный лоб. . . и боль,
что это — в первый и в последний раз.

* * *

Не спрашивай, кто я, — не знаю я,
не бес, не Бог.
Я — просто я в дыханье бытия, —
не свят, не плох.

Что ночь бела — я знаю. Ничего.
Сирень. Балкон.
Цепь львиная на мостике. . . и вот —
белым-бело!

Прощай! Кто ты — не знаю. Не грусти,
лети листвою! . .
Как будто птица плачет на груди,
а не лицо!

* * *

Не любила меня
без льгот.
Обеяла себя,
как боль.
Не любила меня
легко, —
объявляла мне бой!

Амазонка, мой меч —
дарю!
Все вам, хищница,
хохотать.
Время близится
к декабрю, —
ухожу в холода!

Мир в морозах чудес.
Прощу
все отлучки моим
словам.
Возвращенье же — не по плечу
даже, девушка, вам!

Ворона

И красными молекулами глаз
грустны-грустны, взволнованы за нас

вороны в парке (в нем из белых роз
валетики из влаги и волос).

И вот ворона бросилась. И вот
я все стоял. Она схватила в рот

билетик театральный (как душа
у ног моих он был — дышал, дрожал,

использованный). И остался снег.
Спектакля нет. Вороны нет.

Венок сонетов

*(Финский залив, Комарово,
сосны, ноябрь 1973 г.)*



1

Не возвратить мне молодость твою,
как февралю — погасшую траву,
как вьюге моря — факелы наяд.
Так сердце спит. Так я себя травлю.
Ноябрь.

Ноябрь и ночь! Бубенчики, толпа
цыганок сна и лампочка тепла,
луна с крылами — в кружеве морей!
Но ни кровинки в прошлом у тебя
моей.

О, жизнь желаний — скрипками цыган,
и блеск берез, и красны кони роз! . .
В окне дожди. . . и дрожь. Я пью стакан.
Не возвратить мне воздуха берез.

2

Не возвратить мне возраста берез.
— Чу! — у окна аукнул Берлиоз,
а может, Моцарт? . . Это ветер, картав. . .
Так красный конь твой, лишь поводья брось, —
кентавр!

Поводья брось, и схватят за крыла
твою луну. Отметят знаком зла
курлык журавлика и клич дрозда.
Теперь ноябрь расставил зеркала
дождя.

Теперь — лай льва, не соловья слова. . .
А в прошлых нивах, в празднестве вина
твое лицо кто сколько целовал? . .
Не ревность. Время ноября — война.

3

Не ревность. Ты сама собой — война.
Мой меч — в морях, я — влага валуна,
я испаряюсь, я уже не явь,
лишь сердце дышит о пяти волнах, —
не ямб.

За спесь беспутства собственного — мсти,
что к прошлому тебе не сжечь мосты,
оттуда звук и зов — ноябрь, немей!
Что дождь волос весенних моросит
не мне.

Я осень. Остановка вне тепла,
вне времени, вне мести, вне молвы,
я — ни кровинки в прошлом у тебя.
Сверкай же, сердце! или нет — молчи.

Сверкай же, сердце! Или же молчи.
 В окне молочном — лампа и мечты
 о чем? О той черемухе вдвоем,
 сирени празднеств? А потом мечи
 возьмем?

Но невеселье певское! О, ты
 еще не знаешь этот ор орды,
 как за любовь — болото, улюлюк. . .
 Один виновен все и один
 люблю.

Но не тебя. Неправда — не себя.
 Я лишь беру струну, как тетиву,
 лишь целит Муза в око серебра
 бессонницы, — так я тебя творю.

Не возродить, — и я тебя творю,
 дар девственности — жертва топору,
 Пигмалион — творенье долюбить!
 Твой лоб клеймен, и моему тавру
 да быть!

Залив звенит! На водопой — такси.
 Корабль в волнах запрятался, — так скиф
 в засаде! . . Вон Кронштадт, как ферзь утрат.
 Моей машинки — пишушей тоски —
 удар! —

и утро! Смолкли клавиши. Лицо
твое — во всю страницу, или звук
лица, мной сотворенного. . . С листвою
деревьев нет. Отдали всю листву.

6

Деревья отпустили всю листву.
Лист в желтых жилках спит себе в лесу,
лист в красных кляксах — в луже, сам не свой.
Деревья без прикрас. Лицом к лицу
со мной.

Ни суеты у них, им нет суда.
Деревьями вот эти существа
лишь мы зовем. И наш глагол весом
лишь нам. . . А как они зовут себя? —
Венцом

творенья? Человек для них — лишь мысль,
по древу растекаешься в траву.
И что для них, что с «мысль» рифмуем «мы»,
и что тебе, как я тебя зову?

7

Как ты — меня? . . А я тебя зову,
аук! — а отклик — дождиком в золу.
Так штиль безлуныя вопрошает шторм.
Так вопрошает муравей зарю. . .
И что?

что солнце — светоносец и свирель,
что море — серебро или сирень,

что небо — не божественно ничуть,
что ты — лишь ты, а я зову «своей»
ничью?

О, мания метафор! В леденцах
златых песок. Матрешечный наряд
хвои. А в небе твоего лица
не отыскать, — коварство и. . . ноябрь.

8

Но я
жду вечера, и вечер — вот уже.
Вишневый воздух в птицах виражей.
Мир морю! На луне лицо нуля.
Опять окно в дыханье витражей.

Листок
в своих бумажных лепестках белел,
он в буквах был и на столе болел.
Хозяин — я с бессмысленным лицом
читал чертеж. Хозяин был без дел.

Листок любил хозяина. Часы,
отчаянно тиктакая (о чем?),
произносили буквы, как чтецы.
Я лишь стенографировал отчет.

9

О чем?
Что львице лай, а слава соловью,
что я свечой меж скалами стою,
что лик любви на буквы обречен? . .
Не вернуть мне молодость свою.

Уста
любви я лишь бумаге даровал.
Оброк любви лишь буквами давал.
В твоей я не был, а в своей устал.
Так вечер охладил деревья.

Так сердце спит. Так я себя травлю.
Так в бездне зла в святилища не верь.
Мсти, жено, мне за молодость твою,
за безвозвратность без меня! Но ведь

10

навет? . .
Но ты — не ревность. Потому терпеть
и нам ноябрь. И нянчиться в тепле
с балтийской болью (или бьется нерв?).
Мсти, жено, мне, что ты со мной теперь.

Что здесь
под хор хвой сквозит стекла металл,
влюбленных волн в потемках маета,
и мы — не мы! Созвездия чудес!
Шалит волна или шумит мечта?

Мечта машинописи! Купола
романтики! Конь красный! С арфой бард!
Но вот луна распушит два крыла,
и на лице ее — бельмо баллад!

Была
ты только текстом сновиденья. Явь
живую ждать? И жду. И снова я
тебя творю, — о святость, как бедлам,
о ясность, как проклятье или яд!

Одна
в беспутности своей без пут, как брызг
бряцанье! донжуановский карниз!
Твое лицо кто сколько обнимал,
чтоб обменять свободу на каприз?

Я — обменял. Притворствуя и злясь,
ты — жизнь желаний! Старшею судьбой
ты ставшая! Святыня или связь?
Ты отомстила мне за все — собой!

Собор
по камушку разобранный! Орган
по трубочке растасканный! Орда
по косточке разъятая! Свобод
не светит. На лице моем аркан.

И конь
несется в ночь, мерцает красный глаз.
Теперь меня копытом втопчет в грязь.
Так в жизни — жизнь и никаких икон,
отравленная, как светильный газ!

Что ж. Я готов. Я говорю: прощай,
жизнь обезжизненная, так сказать.
И здравствуй, жизнь желаний! Получай
в избытке долю солнца и свинца.

13

Связать
цезурой сердце, обессмертить дух
строфой, зарифмовать дыханье двух,
метафорами молодость спасать?
Но это — аллегории, мой друг!

Ныряй
вот в эту ночь, в мир молний и морей,
в сон осени и дрожь души моей.
Необратима ты! И наш ноябрь
мучительней сонетов и мудрей.

Да будет так. Писатель пишет стих.
Читатель чит писателя. А нам
в отместку ли за двуединство сих
почь у окаменелого окна?

14

Она
не очень-то черна. . . «Мы — чур не мы!»
не бойся! Мы как мы. И чародей,
тот, сотворивший Небо-Океан
для нас, — не даждь очнуться в черноте!

Даждь нам
луноу с крылами, древо на камнях,

забрала сна, клич красного коня,
мечи мороза, зеркала дождя,
вращающие волны, как меня!

И — утро! . . . Звезды утра — как закат.
Деревьев дрожь. Я рифмой тороплю
последний лист предснежный (листопад!).
Я знаю, что не вернуть твою.

15

Я знаю, что! И в прошлое тропу
не трогая, возмездия теплу
не требуя, а в будущем (но рай
не тратится!) . . . так я тебя таю.
Ноябрь

нарвал
и лавров, и в цикуту опустил,
цепь сердцу! — сам себя оповестил.
Но цепи все расцеплены. Но яд
бездействует, — я осень освятил!

Сверкай же, сердце! Принимай конец
добра, как дар. Зло в сердце замоля,
да будем мы в труде, как ты, венец
сонетов, и тверды, как ты, Земля!

СОДЕРЖАНИЕ

«Когда от грохота над морем...»	5
«И древний диск луны потух...»	6
«Над Ладогой вечерний звон...»	7
Легенда Ладоги (<i>Четыре фрагмента из поэмы «Хроника Ладоги»</i>)	9
«Художник пробовал перо...»	17
Белый вечер	18
«Уже не слышит ухо эха...»	19
«Тише, тише, мысли-мыши...»	21
Когда нет луны	22
Сентябрь	24
«Ты уходишь, как уходят в небо звезды...»	26
Осень в Михайловском	27
Зимняя дорога	29
«В твоих очах, в твоих снегах...»	30
Начало ночи	31
«Знал и я раньше...»	32
Мартынов в Париже	34
Феерия	36
«Во всей вселенной был бедлам...»	44
Фантазии совы	46
Дождь-декабрь	50
«Сколько используешь калорий...»	52
«Празднуем прекрасный вечер...»	53
Колыбельная колыбели	54
Баллада Редингской тюрьмы (<i>Оскар Уайльд. Вольный перевод</i>)	55
«Разлука звериного лая со страхом собачьим...»	61
«И ко сну отошли рекламы...»	62
«Фонари опадают...»	63
Детская песенка	64

«Мы плыли уже семь дней...»	65
«Прощай, Париж!..»	66
Письмо	67
Музыкант	68
Парус	70
Балтийское утро	71
У моря	73
Продолжение Пигмалиона	76
Гамлет и Офелия. <i>Фрагмент</i>	78
Песня Офелии	81
Гомер	83
Исповедь Дедала	85
Октябрь	89
«Комнату нашу оклеили...»	90
Летний сад	91
Первый снег	92
Дворник	93
Трамвай	95
Полночь	97
Кузнечик	99
«Кристалл любви, кристалл надежды...»	101
Отъезд со взморья	102
«Солище знает свой запад...»	103
«Все прошло. Так тихо на душе...»	104
«Я вас любил. Любовь еще — быть может...»	105
Слеза в лесу	106
Вечер в лесу	108
Бессмертье в тумане	110
Песнь лунная	111
Босые листья	113
Двое	114
«Не гаси, не гаси наш треног...»	116
Утро	117
Письма тебе (<i>Вариации</i>)	119

Этот эпилог	127
«Я тебя отворюю у всех семей, у всех невест...»	129
Муза моя — дочь Мидаса	130
«Обман ли, нет ли — музыка мала...»	132
«Ты, близлежащий, женщина, ты враг...»	133
Ночь о тебе	134
После	135
Баллада	136
Хутор у озера	138
Урок рисования	140
Читая Эдгара По	142
Лилии ночью	145
«Бессолнечные полутени...»	147
«Мой лес, в котором столько роз...»	149
«Все равно — по смеху, по слезам ли...»	151
«Храни тебя Земля, мой человек...»	152
Новороссийская ночь	153
В Гагре	154
Считалка прощанья	156
«В эту осень уста твои...»	157
«Серебряный листик на красной стене...»	158
«Сожгли мосты и основали Рим...»	159
«Нет грез! Нас не минует ночь сия...»	160
«Не спрашивай, кто я, — не знаю я...»	161
«Не любила меня...»	162
Ворона	163
Венок сонетов (<i>Финский залив, Комарово, сосны, ноябрь</i> <i>1973 г.</i>)	164

Виктор Александрович Соснора

ПЕСНЬ ЛУННАЯ

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1982, 176 стр. План выпуска 1982 г. № 218. Редактор Ф. Г. Каца с. Худож. редактор М. Е. Новиков. Техн. редактор Е. Ф. Шарасва. Корректоры Ф. Н. Аврунина и Е. Я. Лапиль. ИБ № 3119. Сдано в набор 15.01.82. Подписано к печати 8.06.82. М 33711. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 7,7. Уч.-изд. л. 5,40. Тираж 25 000 экз. Заказ № 84. Цена 85 коп. Издательство «Советский писатель». Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Невский пр., 28. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 190000, Ленинград, центр, Красная ул., 1/3.